

Только такая любовь к человеку есть настоящая, не преуменьшенная против существа любви и ее задачи, – где любящий совершенно не отделяет себя в мысли и не разделяется как бы в самой крови и нервах от любимого {Хронологически с конца 1911 года}. Вот эту-то любовь к человеку я и встретил в своем «друге» и в матери ее, Ал. Адр-е[1 - Множество сокращений имен, названий, понятий, с которыми встречается читатель розановских книг - вовсе не шифры; для Розанова - это неотъемлемая часть “домашнего”: рукописного, бытового, интимного. “Друг”, “бабушка”, “Ш.”, “У.” - все это как бы продолжение бытовых записочек, домашних названий, с первого взгляда понятных своим. Такими “своими”, “домашними” и намерен видеть Розанов любящих читателей. “Улицы нет. Дверь крепко заперта. Горит старая русская свечка... Сам я в туфлях и гости мои в туфлях. Тут - “мы”... (В. В. Розанов. “Литературные изгнанники”. Т. 1 СПб., 1913, с. IX-X). И здесь читатель, не заглядывая более в комментарий, “помнит”, “знает”: В., В-ря, моя Варя, “друг”, “мамочка” - Варвара Дмитриевна Бутягина (урожденная Руднева, 1864-1923), вторая жена Розанова; Ал. Адр-а, А. А. Р., “бабушка”, “мамаша” - Александра Адриановна Руднева (урожденная Жданова, 1826-1911), мать Варвары Дмитриевны; “Ш.”, “Санюша”, А., “Аля”, “наша Аля”, “Алюся” - Александра Михайловна Бутягина (1883-1920), дочь Варвары Дмитриевны, падчерица Василия Васильевича; “У.”, “Уед.”, “Уедин.” - “Уединенное” (СПб., 1912), книга В. В. Розанова: “Самое лучшее и дорогое, что написал за жизнь”]; почему они две и сделались моими воспитательницами и «путеводными звездочками». И любовь моя к В. началась, когда я увидел ее лицо полное слез (именно лицо плакало, не глаза) при «+» моего товарища, Ивана Феокистовича Петропавловского[2 - Иван Феокистович Петропавловский (ум. в 1889 г.) - учитель приготовительного класса в г. Ельце; товарищ Розанова; Розанов и позже считал его “первым умницей в городе”, звал “Датским принцем”; “первым в Дании” (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 21, л. 8).] (Елец), их постояльца, платившего за 2 комнаты и стол 29 руб. (приготов. класс). Я увидел такое горе «по чужом человеке» (неожиданная, но не скоростижная смерть), что остановился как вкопанный: и это решил мой выбор, судьбу и будущее[3 - События, о которых рассказывает Розанов, относятся к весне 1889 года. Спустя тринадцать лет, в неопубликованном письме к петербургскому митрополиту Антонию Розанов так описал судьбоносную встречу с “благородной жизнью благородных людей” в домике Рудневых: “Они жили против церкви Введения Пресвятой Богородицы - храм навсегда для меня милый, моя нравственная родина. Где около его стены хотел бы я быть похороненным. Этот Петропавловский был единственным их нахлебником, т. е. семьи Рудневых, живших в деревянном домике, где родился преосвященный Иннокентий Одесский (их дядя ли, дед ли). Семья состояла из старушки, моей почтенной теперь матушки, вдовы 27-25 лет, и внучки 3-х лет. Вдова потеряла на 21 году горячо любимого мужа, у которого развилось центральное воспаление мозга и он медленно день за днем слеп, перед смертью лишившись рассудка, и умер. Можно представить горе и особенно грозу, столь медленно надвигающуюся. Он был благородный человек (т. е. покойный муж молодой вдовы). Все родство их духовное, прелестное, теплое внутри, взаимно помогающее, утонченно деликатное. Раньше я был тоже религиозен, но как-то бесцерковно; тут я прямо бросился к церкви как “стене нерушимой”, найдя идеальный круг людей именно среди церковников. Не могу иначе объяснить себе доблести этих людей, как все это было тут стародавнее, насиженное, историческое, все три рода - Бутягиных (старый протоиерей, отец покойного мужа молодой вдовы), Рудневых (урожденная фамилия моей жены), Ждановых (дядя по матери). Знакомый, я не был тесно знаком с ними - до смерти Петропавловского. Простудившись и схватив болезнь сердца, он был лечим от желудка, и две недели - прохворав, умер. Вот эта-то смерть, глубоко встревожив всю гимназию, поразив меня (его друга), смертельно поразив семью Рудневых (хозяева), произвела род смятения, оторопелости: все бегали, старались спасти, уже было поздно - и разразилось отчаяние. Что нахлебник хозяевам, судя по матерьяльному? А я, студент, немножко ученый, судил по матерьяльному. Но, конечно, с чаяниями, что есть “где-то кто-то” и не матерьяльный. Я всегда был наблюдателен и подозрителен: когда я увидел, тоже суетясь и глубоко скорбя о верном своем друге, тот взрыв о нем скорби и слез и отчаяния у этих его “хозяев”, включительно до малютки, которую он всегда звал: “звездочкой” (теперь уже ей 19 лет - и она моя падчерица), я просто нашел второй укор бытия в себе и вместе душевную теплоту, уютность. Похоронили. У него мать была сельская дьячиха. Вообще все чрезвычайно просто, но, поверьте - чрезвычайно умно, отнюдь не бездарно, отнюдь не провинциально, не захоластуно. Куда Петербургу до провинции (даже в смысле серьезной “интеллигентности”)! Похороны, смерть - снимает преграды; над покойником все быстро дружатся; и установилась у меня та нравственная доверчивость, которая дозволила бывать в доме. А семья эта давно жила под изредка спрашиваемыми советами (“благословил”, “не благословил”) Оптинского старца, знаменитого отца Амвросия. (Я его никогда не видел). Так бывал - бывал - бывал, год, два прошло, и настала любовь - к молодой вдове, послушной дочери, примерной матери, верной памяти мужа. Кроме отрочества, у меня никогда так называемых влюблений не было; повторяю - я скептик и подозрительный человек, немножко - мизантроп. Но уж где найду оазис душевный - я горю перед ним лампадой. Так и здесь настала любовь к месту - этой церкви Введения, седому высокому там священнику (церковь - маленькая, деревянный пол, все богомольцы знают свои места, ни толчеи, ни суеты при службах нет), большой полянке вокруг церкви (ребятишки по веснам играли), домику Рудневых, ребенку, старушке и вдове. Только потому, что нельзя было ни в старушку, ни в ребенка влюбиться, я - просто привязался как к родной вдове. Тут - грация; ласка души; тончайшая деликатность; нежность физическая, неуловимо-милые манеры, а, главное, это чудное отношение к старику свекру, золовкам (сестры мужа), братьям, ко всему - меня прельстило, глубоко одинокого человека. Я думаю, чувство радости и суммы этого родства было главное. Я же и своих родителей потерял рано, так что вообще внесемееен. А чего не имеешь, то любишь. Все знали мое положение (т. е. что есть жена), но, странно - все меня любили, и свекор, и деверья, и дяди, все.” (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 256, л. 3-4).].

И я не ошибся. Так и потом она любила всякого человека, в котором была нравственно уверена.

В-ря есть самый нравственный человек, которого я встретил в жизни и о каком читал. Она бы скорее умерла, нежели бы произнесла неправду, даже в мелочи. Она просто этого не могла бы, не сумела. За 20 лет я не видел ее хотя двинувшуюся в сторону лжи, даже самой пустой; ей никогда в голову не приходит возможность сказать не то, что она определенно думает.

Удивительно и натурально.

(19 декабря 1911 г.).

Но точь-в-точь такова и ее мать. В-ря («следующее поколение») только несколько одухотвореннее, поэтичнее и нервнее ее.

«Верность» В-ри замечательна: ее не могли поколебать ни родители, ни епископ Ионафан[4 - Епископ Ионафан (в миру Иван Наумович Руднев, ум. в 1906 г.) - архиепископ ярославский; брат отца Варвары Дмитриевны (см. о нем: В. Варварин <В. Розанова “Русский Нил.” -

“Русское слово”, 1907, 17 июля). Крайне настороженно архиеп. Ионафан отнесся не только к первому, но и ко второму браку Варвары Дмитриевны. В письме к В. В. Розанову от 1 янв. 1899 г. он писал: “Прошедшее у вас и Вари было нехорошо. Если первая ваша жена жива: то вам трудно достигнуть счастья и благополучия... Скажите мне откровенно: дети ваши в метриках записываются законными или нет? От этого зависит будущее счастье или несчастье ваших детей...” (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 470, л. 1).] (Ярославль), когда ей было 14 лет и она полюбила Мих. Павл. Бутягина[5 - Михаил Павлович Бутягин (ум. ок. 1884 г.) - учитель в Ельце, первый муж Варвары Дмитриевны], которому была верна и по смерти, бродя на могилу его (на Чернослободском кладбище, Елец)... И опять – я влюбился в эту любовь ее и в память к человеку, очень несчастному (болезнь, слепота), и с которым (бедность и болезнь) очень страдала.p>

Ее рассказ «о их прошлом», когда мы гуляли ввечеру около Введенской церкви, в Ельце, – тоже решил мою «судьбу».

Моя В-ря одна в мире.

(20 лет).

Что я все нападаю на Венгерова и Кареева[6 - Семен Афанасьевич Венгеров (1855-1920) - историк литературы, критик и библиограф. Николай Иванович Кареев (1850-1931) - историк и социолог. Особенно резко Розанов полемизировал с ними в статье “Погребатели России” (“Новое время”, 1909, 19 ноября). В другом месте Розанов писал о Венгерове и Карееве: “Симпатичное лицо” могло увлечь меня в революцию, могло увлечь и в Церковь, - и я в сущности шел всегда к людям и за людьми, а не к “системе и не за системой убеждений”. Вся напр. моя (многолетняя и язвительная) полемика против Венгерова и Кареева вытекла из того, что оба - толстые, а толстых писателей я терпеть не могу. Но “труды” их были мне нисколько не враждебны -(или “все равно”). (В. В. Розанов. “Литературные изгнанники”. Том первый. СПб., 1913, с.257).]. Это даже мелко... Не говоря о том, что тут никакой нет «добродетели».

Труды его почтенны. А что он всю жизнь работает над Пушкиным, то это даже трогательно. В личном обращении (раз) почти приятное впечатление. Но как взгляну на живот – уже пишу (мысленно) огненную статью.

Ужасно много гнева прошло в моей литерат. деятельности. И все это напрасно. Почему я не люблю Венгерова? Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан).

Только то чтение удовлетворительно, когда книга переживается. Читать «для удовольствия» не стоит. И даже для «пользы» едва ли стоит. Больше пользы приобретаешь «на ногах», – просто живя, делая.

Я переживал Леонтьева (К.)[7 - Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891) - писатель, философ, литературный критик. Историю знакомства и дружбы с К. Леонтьевым Розанов изложил в предисловии и комментариях к леонтьевским письмам, опубликованным в “Русском вестнике” (1903, апрель, май, июнь): “К. Н. Леонтьева я знал всего лишь неполный год, последний, предсмертный его. Но отношения между нами, поддерживавшиеся только через переписку, сразу поднялись таким высоким пламенем, что не успевши свидеться, мы с ним сделали горячими, вполне доверчивыми друзьями... Строй тогдашних мыслей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что нам не надо было сговариваться, договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины понятно друг в друге...” {Константин Леонтьев. “Письма к Василию Розанову”. London, 1981, с.23}. Первая большая статья Розанова о Леонтьеве (“Эстетическое понимание истории”. - “Русский вестник”, 1892, No 1-3) вызвала оживленный интерес к “провинциальному философу” со стороны таких консервативных писателей, как А. Александров, Ф. Романов (Рцы), Т. Филиппов. На протяжении всей своей жизни Розанов неоднократно возвращался к идеям и личности Леонтьева, с энтузиазмом откликаясь на любые попытки возвращения забытого мыслителя из “литературного изгнания”.] и еще отчасти Талмуд[8 - Талмуд (в буквальном переводе с древнееврейского - учение, изучение) - свод устного учения, сложившегося в иудаизме в последние века до нашей эры и первые века н. э. Помимо религиозных и правовых предписаний Талмуд содержит также множество исторических, теологических и естественно-научных материалов. Розанов читал Талмуд в русском переводе Н. Переферковича (Талмуд. Мишна и Тосефта, т.1-6, СПб. 1899-1904; Талмуд Вавилонский, СПб., 1909). Рецензия Розанова на 1 том этого перевода появилась в литературном приложении к “Торгово-промышленной газете” (1899, 24 октября).]. Начал «переживать» Метерлинка[9 - Морис Метерлинк (1862-1949) - бельгийский поэт и драматург, в начале нашего века был одним из наиболее чтимых авторов в кругу символистов. Небольшое эссе о нем Розанова можно найти в книге: Морис Метерлинк. Сочинения в трех томах Т.1, СПб.(б.г.<1909>).]: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждых 8-ми строк в часовую задумчивость (читал в конке). И бросил от труда переживания, – великолепного, но слишком утомляющего.

Зачем «читал» другое – не знаю. Ничего нового и ничего поразительного.

Пушкин... я его ел. Уже знаешь страницу, сцену; и перечтешь вновь: но это – еда. Вошло в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от грехов. Его

Когда для смертного умолкнет шумный день

одинаково с 90-м псалмом («Помилуй мя, Боже»), Так же велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда.

Есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «не ладно».

Я рожден «не ладно»: и от этого такая странная, колючая биография, но довольно любопытная.

Не «ладно» рожденный человек всегда чувствует себя «не в своем месте»: вот именно как я всегда чувствовал себя.

Противоположность – бабушка (А.А. Руднева). И ее благородная жизнь. Вот кто родился... «ладно». И в бедности, ничтожестве положения – какой непрерывный свет от нее. И польза. От меня, я думаю, никакой «пользы». От меня – «смута».

Чего я жадничаю, что «мало обо мне пишут». Это истинно хамское чувство. Много ли пишут о Перцове[10 - Петр Петрович Перцов (1868-1947) - литературный критик, публицист, издатель книг Розанова: “Литературные очерки” (СПб., 1899), “Религия и культура” (СПб., 1899),

Сумерки просвещения” (СПб., 1899) “Приход Перцова, и вскоре предложение им издать сборники моих статей, - было собственно началом “выхода к свету”. У меня не было до этого самых знакомств, самого видения лица человека, - который бы мне помог куда-нибудь выбраться.” {В. В. Розанов. “Литературные изгнанники”, с.386}. Впоследствии Перцов печатал свои статьи в тех же изданиях, что и Розанов - в журн. “Новый путь”, в газ. “Новое время”.], о Философове[11 - Дмитрий Владимирович Философов (1872-1940) - литературный критик и публицист, близкий друг З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. С Философовым Розанов познакомился в 1898 г. в редакции журн. “Мир искусства”; после революции 1905 г. Философов - сотрудник многих либеральных периодических изданий, прежде всего - газ. “Речь”, со страниц которой вел полемику с Розановым. Для Розанова, как явствует из его заметок и писем, Философов оставался прежде всего “Димой” “Мира искусства”: “Дмитрий Владимирович Философов - “Дима” Мира искусства, неразлучный с Сержем (Дягилев)... В Мире искусства Мережковский был как барин; барин, несколько устраивающийся у своей челяди: и хлеб, и славишка. Потом отвлек Диму от Сержа, - какими “чарами” - не понятно. Роль Мережковского была сухая и утилитарная в Мире искусств. Собственно, Мир искусства был почти семейным органом Дягилевых-Философовых, и кажется Анна Павловна (мать Д. В. Философова) много прожила на этот ненавистный ей орган. Все это общество Мира иск. было прелестно, талантливо, аристократично по воспитанию, декадентно по вкусам, демократично по убеждениям. Не понятно, зачем оно распалось” (РО ГБЛ ф. 249, ед. хр. 3871, л. 17).]. Как унижительно это сознание в себе хамства. Да... не отвязывайся от самого лакейского в себе. Лакей и гений. Всегдашняя и, м. б., всеобщая человеческая судьба (кроме «друга», который «лакеем» никогда, ни на минуту не был, глубоко спокойный к любви и порицаниям. Также и бабушка, ее мать).

Почему я издал «Уедин.»?

Нужно.

Там были и побочные цели (главная и ясная – соединение с «другом»). Но и еще сверх этого слепое, неодолимое:

НУЖНО.

Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматически начал нумеровать листочки: и отправил в типографию.

Работа и страдание – вот вся моя жизнь. И утешением – что я видел заботу «друга» около себя.

Нет: что я видел «друга» в самом себе. «Портретное» превосходило «работное». Она еще более меня страдала и еще больше работала.

Когда рука уже висела, – в гневе на недвижность (весна 1912 года) она, остановясь среди комнаты, – несколько раз взмахнула обеими руками: правая делала полный оборот, а левая – поднималась только на небольшую дугу, и со слезами стала выкрикивать, как бы топая на больную руку:

– Работай! Работай! Работай! Работай!

У ней было все лицо в слезах. Я замер. И в восторге и в жалости.

(левая рука имеет жизнь в плече и локте, но уже в кисть нервный импульс не доходит).

Мать умирает, дети даже не оглянутся.

– Не мешала бы нашим играм.

И «портреты великих писателей»... И последнего недолгого «друга».

«Ты тронь кожу его», – искушал сатана Господа об Иове[12 - “Ты тронь кожу его” - обычный для Розанова перифраз, заменявший у него точное цитирование; в данном случае речь идет о второй главе библейской Книги Иова.]... Эта «кожа» есть у всякого, у всех, но только – не одинаковая. У писателей, таких великодушных и готовых «умереть за человека» (человечество), вы попробуйте задеть их авторство, сказав: «Плохо пишете, господа, и скучно вас читать», и они с вас кожу сдерут. Филантропы, кажется, очень не любят «отчета о деньгах». Что касается «духовного лица», то оно, конечно, все «в благодати»: но вы затроньте его со стороны «рубля» и награды к празднику «палицей», «набедренником» и какие еще им там полагаются «прибавки в благодати» и, в сущности, в «благодатном расположении начальства»: – и «лица» начнут так ругаться, как бы русские никогда не были крещены при Владимире...

Ну а у тебя, Вас. Вас., где «кожа»?

Сейчас не приходит на ум – но, конечно, есть.

Поразительно, что у «друга» и у Устьянского[13 - Александр Петрович Устьянский (1854-1922) - новгородский священник, протоиерей Дмитровской церкви, друг и многолетний корреспондент Розанова, неутомимо поддерживавший его религиозно-философские поиски на путях оправдания “святости семьи”. На обороте фотографии Устьянского сохранилась запись рукой Розанова: “Вот мой милый, вот мой дорогой священник - больше ничего не умею сказать. Люблю, чту, брат мой, наставник мой. Хочу, чтобы письма и портрет его - были изданы после моей “+”. Кто-нибудь любящий меня сделает. Он был весь - русский. Твердый. Ясный. Скромный... Ах: потом мы с ним вместе уродились в Костроме.” (РО ГБЛ, ф. 249, ед. хр. 4209).] нет «кожи». У «друга» – наверное, у Устьянского кажется наверное. Я никогда не видел «друга» оскорбившимся и в ответ разгневанным (в этом все дело, об этом сатана говорил). Восхитительное в нем – полная и спокойная гордость (немножко не то слово), молчаливая, – которая ни разу не сжалась и, разогнувшись пружиной, – отвечала бы ударом (в этом дело). Когда ее теснят – она посторонится; когда нагло смотрят на нее – она отходит в сторону, отступает. Она никогда не поспорила, «кому сойти с тротуара», кому стать «первому на коврик», – всегда и первая уступая каждому, до зова, до спора. Но вот прелесть: когда она отступала – она всегда была царицею, а кто «вступал на коврик» – был и казался в этот миг «так себе». И между тем она не знает «Ъ» (точнее, все «е» пишет через «Ъ»): кто учил?

Врожденное.

Прелесть манер и поведения всегда врожденное. Этому нельзя научить и выучиться. «В моей походке душа». К сожалению, у меня, кажется, преотвратительная походка.

Страшная пустота жизни. О, как она ужасна...

Несут письма, какие-то теософические журналы (не выписываю). Какое-то «Таро»... Куда это? зачем мне?

«Прочти и загляни».

Да почему я должен во всех вас заглядывать?

Забыть землю великим забвением — это хорошо.

(идя из Окруж. Суда, — об «Уед.»).[14 - Книга Розанова “Уединенное” вышла весной 1912 г. и была арестована цензурой по обвинению в порнографии. 19 июня 1913 года в газете “С.-Петербургские ведомости” появилось сообщение о результатах Судебного процесса над В. В. Розановым: “В СПб. судебной палате слушалось дело по обвинению В. В. Розанова в порнографии, по 1001 ст. улож. о нак., за его известную книгу “Уединенное”, конфискованную комитетом по делам печати. Окружной суд, как известно, признал Розанова виновным и приговорил его к десяти дням ареста, постановив книгу уничтожить. Палата от наказания автора “Уединенного” освободила по указу об амнистии и постановила освободить от конфискации книгу по изъятии из нее нескольких отдельных мест, в общем не превышающих десяти страниц”.]

— Куда я «поеду»... Я никуда не «поеду»... Я умираю... «Поеду» в землю... А куда вы «поедете» и кто после меня будет жить в этих семи комнатах... я не знаю... (громко, громко, — больше чем «на всю комнату», но не выкрикивая, а «отчеканивая»).

Мы все замерли. Дети тупо и раздраженно. Они все сердятся на мать, что она кричит, то — плачет. Мешает их «ровному настроению».

(Переехав на новую квартиру, — «возня», — и в день отъезда Ш., о чем она весь день горько плакала. 27-го мая за вечерним чаем.)

Шуточки Тургенева над религией — как они жалки.

Кто не знал горя, не знает и религии.

Любить — значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя»; везде скучно, где не ты.

Это внешнее описание, но самое точное.

Любовь вовсе не огонь (часто определяют): любовь — воздух. Без нее — нет дыхания, а при ней «дышится легко». Вот и все.

— Вася, сходи — десяток сухарей.

Это у нас жил землемер. За чаем сидел он и семинарист. Я побежал. Молодой паренек лавочник, от хорошей погоды или удачной любви, отсчитав пять пар, — бросил в серый пакет еще один.

— Вот тебе одиннадцатый.

Боже мой, как мне хотелось съесть его. Сухари покупали только жильцы, мы сами — никогда. На деснах какая-то сладость. Сладость ожидания и возможности.

Я шел шагом. Сердце билось.

— Могу. Он мой. И не узнают. И даже ведь он мне дал, почти мне. Ну, при покупке им и бросив в их тюрок (пакет). Но это все равно: они послали за десятью сухарями и я принесу десять.

Вопрос, впрочем, «украсть» не составляет вопроса: воровал же постоянно табак.

Что-то было другое: — достоинство, великодушие, великолепиие.

Все замедляя шаги, я подал пакет.

Сейчас не помню: сказал ли: «тут одиннадцать». Был соблазн — сказать, но и еще больший соблазн — не сказать.

И не помню, если сказал, дали ли (догадались ли они дать) мне 11-й сухарёк. Я ничего не помню, должно быть от волнения. Но эта минута великолепной борьбы, где я победил, — как сейчас ее чувствую.

Я оттого ее и помню, что обыкновенно не побеждал, а побеждался. Но это — потом, большим и грешным.

(в Костроме, 1866-7 гг.).[15 - В Костроме Розанов жил с лета 1861 г. (год смерти отца - Василия Федоровича Розанова) по лето 1870 г. (год смерти матери - Надежды Ивановны Розановой, урожденной Шишкиной).]

Сестра Верочка[16 - Сестра Верочка - Вера Васильевна Розанова (1848-1867), сестра В. В. Розанова, была вторым ребенком в семье В. Ф. Розанова.] (умирала в чухотке 19-ти лет) всегда вынимала мякиш из булки и отдавала мне. Я не знал, почему она не ест (не было аппетита). Но эти массы мякиша (из 5-копеечной булки) я съедал моментально, и это было наслаждение. Она меня же посылала за булкой, и когда я приносил, скажет: «Подожди, Вася». И начинала, разломив вдоль, вынимать бока и середочку.

У нее были темные волосы (но не каштановые), и она носила их «коком», сейчас высоко надо лбом; и затем – гребешок, узкий, полукругом. Была бледна, худая и стройна (в семье я только был некрасив). Когда наконец решили (не было денег) позвать Лаговского, она лежала в правой зелененькой (во 2-м этаже) комнате. Когда он вошел, она поднялась с кровати, на которой постоянно лежала. Он сказал потом при мне матери:

– Это она похрабрилась и хотела показать, что еще «ничего». Перемените комнату, зеленые обои ей очень вредны. Дело ее плохо.

Как она умерла и ее хоронили, я ничего не помню.

Однажды она сказала мне: «Вася, принеси ножницы». Мне было лет едва ли 8. Я принес. Из печатного листка она выстригла узкую крошечную полоску и бережно положила к себе в книгу, бросив остальное. Напечатано было: Самойло. «Ты не говори никому, Вася». – Я мотнул головой.

Поступив в гимназию, я на естественной истории увидел за учительским столиком преподавателя, которого называли «Самойло». Он был умеренно-высокого роста, гладко выбритый в щеках и губах, большие слегка волнистые волосы, темно-русые, ходил всегда не иначе как в черном сюртуке (прочие – в синих фраках) и необыкновенно торжественный или, вернее, как-то пышный, величественный. Он никогда не допускал себе сходить со стула и демократически «расхаживать по классу». Вообще в нем ничего не было демократического, простого. Среди других учителей, ужасно ученых, он был как бог учености и важности. Может быть, за год он улыбнулся раза два, при особенно нелепом ответе ученика, – т. е. губы его чуть-чуть сжимались в «мешочек», скорее морщились, но с видом снисхождения к забавному в ученике, позволяя догадываться, что это улыбка. Говоря, т. е. пропуская из губ немногие слова, он всегда держал (рисую по бумаге «штрихи») ручку с пером как можно дальше от пальцев, – и я видел благородные, суживающиеся к концу пальцы с очень длинными, заостренными, без черноты под ними, ногтями, обстриженными «в тон» с пальцами (уже, уже, – ноготь: но и он обстрижен с боков конически).

Мы учили по Радонежскому или Ушинскому:

«Я человек хотя и маленький, но у меня 32 позвонка и 12 ребер»[17 - И здесь, и во 2-м коробе «Опавших листьев», где перепечатан этот же отрывок (с.182), пропущено слово «пар», т. е. должно быть: 12 пар ребер.]... И еще разное, противное. В 3-м классе (брат Федор[18 - Федор Васильевич Розанов (1850-?) - брат В. В. Розанова, третий ребенок в семье В. В. Розанова. Впоследствии стал «странником».]) он (Самойл.) учил ботанике. Это была толстая книга «Ботаника Григорьева»; но это уже были недоступности, на которые я не мог взирать.

Мечта моя, года три назад и теперь, – следующая. Может быть, кто-нибудь любящий – исполнит (Флоренский[19 - Павел Александрович Флоренский (1882-1937?) - священник, религиозный философ, богослов, ученый. Розанов чрезвычайно высоко ценил О. П. Флоренского и выделял его из кружка «московских славянофилов». (См.: В. Розанов. «Густая книга». - «Новое время», 1914, 12 и 22 февр.; «П. А. Флоренский об А. С. Хомякове». - «Колокол», 1916, 14 и 22 окт.; «Важные труды о Хомякове». - «Новое время», 1916, 12 окт.). В одной из неопубликованных заметок 1914 г. Розанов так сформулировал свое отношение к Флоренскому: «Павел Флоренский - особенный человек, и м.б. это ему свойственно. Я его не совсем понимаю. Понимаю на 1/2; на 3/4, но на 1/4 во всяком случае не понимаю. Наиболее для меня привлекательное в нем: тонкое ощущение другого человека, великая снисходительность к людям, - и ко всему, к людям и вещам, великий вкус. По этому превосходству ума и художества всей натуры он единственный. Потом привлекательно, что он постоянно болит о семье своей. Вообще - он не solo, не «я», а «мы». Это при уме и кажется отдаленных замыслах - превосходно, редко и для меня по крайней мере есть главный мотив связанности. Вообще мы связываемся не на «веселом», а на «грустном», и это - есть. Во многих отношениях мы противоположны с ним, но обширную натурой и умом он умеет и любит вникать и трудиться с «противоположным». Недостатком его природы я нахожу чрезвычайную правильность. Он - правильный. Богатый и вместе правильный. В нем нет «воющих ветров», шакал не поет в нем «заунывную песнь». Но ведь по существу - то что в «ветре», что в «шакале». - «Ах, искушали меня эти шакалы». В нем есть кавказская твердость, - от тамошних гор, и нет этой прекрасной, но и лукавой «землицы» русских, в которой «все возможно» и «все невозможно». Господь да благословит его в путях его.» (ЦГАЛИ, ф. 419, ед. хр. 225 л. 231). Высоко ценил талант Розанова и Флоренский; их многолетняя переписка неизвестна современным исследователям: после смерти Розанова Флоренский, с согласия родственников писателя, взял свои письма назад. Идеиные и литературные взаимоотношения Розанова и Флоренского нуждаются в обстоятельном анализе (первые подступы к теме см.: Юрий Иваск. «Розанов и о. Павел Флоренский». - «Вестник РСХД» (Париж), 1956, No 42, с. 22-26; П. Палиевский. Розанов и Флоренский. - «Литературная учеба», 1989, No 1, с. 111-115).]? Цветков[20 - Сергей Алексеевич Цветков (1888-1964) - историк литературы, редактор «Русских ночей» В. Ф. Одоевского (М., 1913), друг и почитатель таланта Розанова. В послереволюционные годы собиратель библиографических материалов о Розанове.]?). Нужно отобрать из моей коллекции римских монет – экземпляров 100 или 200, консульских денариев и из денариев Траяна, Адриана и Антонина Пия (особенно многочисленны). Поместить каждую монету в коробочку (у меня их громадный запас), надписать сверху определение монеты («Римская республиканская. Патрицианский род Манлиев», «Юлиев» и т. д.). Дынышки коробок обмазать гуммиарабиком, и прилепить ко дну небольшого ящика под стеклом, – сперва республиканские по порядку алфавита, и, затем, императорские по хронологии. Закрыть и запереть ящик (ящики есть у меня). И пожертвовать, – т. е. попросить принять его в дар, – начальнику Григоровского училища (теперь пансион? гимназия?) в Костроме – для этого училища. Позвав слесаря, можно там или поместить это в коридоре учениц старшего класса, или – если бы встретились препятствия – в старшем классе, прибив на петлях и крюках верхнюю сторону, а снизу сделав «отстранение» (от стены; такие «отстранения» у меня есть при ящиках). Таким образом, ящик будет в покато положении. Над ящиком укрепить небольшой серебряный венок, на что из оставленных мною денег выдать рублей 150–200, с пластинкою-надписью посредине его:

Григоровскому училищу

от воспитанницы

1860–1867 годов

Веры Розановой.

Верочка была вся благородная и деликатная. Она была похожа только на старшего брата Колю[21 - Брат Коля - Николай Васильевич

Розанов (1847-1894) - старший брат В. В. Розанова, после смерти матери взявший на содержание и воспитание двух своих братьев (Василия и Сергея). С 1870 г. был преподавателем в Симбирске, с 1872 г. - в Нижнем Новгороде; с 1879 г. - инспектор, а затем и директор гимназии в Белом и Вязьме. Н. В. Розанов был идейным поборником классического образования и принципов воспитательного образования; в общественно-культурном плане - оставался консерватором славянофильской ориентации. Многие педагогические и культурно-политические установки старшего брата отстаивались впоследствии и В. В. Розановым.] (достоинство), на нас прочих не была похожа.

Штейнгауэр крепко схватил меня за руку. Испуганно я смотрел на него, и пот проступил во всем теле.

Он был бритый, с прекрасным лбом.

– Что вы делаете?

– Что? – спросил я виновно и не понимая.

– Пойдемте.

И вытащил меня в учительскую.

– Видели вы такого артиста, – негодуя, смеясь и удивляясь, обратился он к товарищам учителям. Там же был и инспектор Ауновский. – Он запел песню у меня на уроке.

Тут я понял. В самом деле, опустив голову и, должно быть, с каплей под носом, я сперва тихо, «под нос», а потом громче и наконец на весь класс запел:

Вдоль да по речке,

Вдоль да по Казанке

Сизый селезень плывет.

Ту, что – наряду с двумя-тремя – я любил попевать дома. Я вовсе забыл, что – в школе, что – учитель и что я сам – гимназист.

«Природа» воскресла во мне...

Я, подавленный, стоял тогда в учительской.

Но, я думаю, это было натуральное «введение» к «потом»: мог ли я написать «О понимании», забыв проходимое тогда учительство...

Да, в сущности, и все, все «потом»...

Этот педагогический «фольклор» я посвящаю Флоренскому.

(во 2-м классе Симбирской гимназии).

Степанов (математика) ловил нас следующим образом. У него была голова толстая и красная, как шар голландского сыра, – и он клал ее в ладонь, поставив локоть на стол (учительский). Нам (ученикам) было незаметно, что он оставлял щелочку между пальцами, – и следил через нее «в боку», в то же время обратясь лицом к «классной доске», где ученик отвечал ему его ерунду (алгебру).

Тогда «в боку», – видя, что «благорастворение воздуха», – ученик Умов или кто, отрывая бумажки, сжимал их, и образовывался комочек с закоулочками и щелочками. И спускал на пол. Таким образом, на полу у его ног образовалась отличная «наша Свяига» (местная речка) и в ней эти рыбки. Когда все готово, он взглядывал на Степанова. Тот сидит массой и смотрит презрительно на длинноногого Пахомова, который стоит у доски и молчит, не зная, что говорить и писать.

Тогда Умов, видя, что «прекрасный воздух» продолжается, прикреплял к ниточке согнутую булавку и, опустив «в воду», начинал ловить рыбу. Т. е. зацепит бумажку и вытащит вверх.

Тишина. Рай. И счастье. Я издали смотрю и сочувствую. Приспосаблию у себя подобное, хотя предпочитал «музыку на перьях».

Тсс... Тсс... Хорошо. Хорошо.

Вдруг гром, яростный, визжащий. Дело в том, что Степанов-то неподвижен и не вынул головы из проклятой ладони. Тем неожиданнее он поражает нас:

– Умов, бойван («л» не выговаривал)! Пошой в угуй! Пошой в угуй, бойван!

Умов вскочил. Дрожит. Удочка выпала из рук.

– Ты там, бойван, ибу удишь! ибу удишь (р не выговаривал)...

– Ежей (рожей) к стене, ежей к стене.

Умов плетется к двери. Но этот проклятый Степанов умел так делать, что и весь класс чувствовал себя подавленным, раздавленным, – «проклятым и подверженным смерти». А в Степанове мы имели точно «Бога, наказавшего нас».

Он был зол и красен.

У него музыки я не смел на уроках. Был очень скромн, потому что я ничего не знал из математики (не понимал). Обыкновенно же «музыка» состояла: перо «N» (aroleon) – нажмешь на парту, острийки отскочат, воткнешь их «по линии» в парту (одно, два) и, смотря внимательно «на урок» и вообще имея вид «благого», пускаешь тихую, мелодичную «трын, трын» на уроке. – Другой такую же в другом углу, еще пуще – где-нибудь. Учитель из себя выходит. Но этого невозможно «найти». У всех лица благочестивы, тихи и воздержанны.

(в Симбирске, 71–72 годы).

У Кости Кудрявцева[22 - Этот же рассказ перепечатан Розановым во 2-м коробе “Опавших листьев” и сопровождается гимназическими письмами Кости Кудрявцева 1874-1877 годов.] директор спросил на переэкзаменовке:

– Скажите, что вы знаете о кум?

Костя был толстомордый (особая лепка лица), волосы ежом, взгляд дерзкий и наглый.

А душа нежная.

Улыбнулся и отвечает:

– Ничего не знаю.

– Садитесь. Довольно.

И поставили единицу.

Костя мне с отчаянием говорил (я ждал у дверей):

– Подлец он этакий: скажи он мне кум – и я бы ответил. О кум три страницы у Кремера (грамматика). Он, черт этакий, выговорил кум\ (есть право и так выговорить, но редко). Я подумал: «Кум — предлог с», что же об нем отвечать, кроме того, что «с творительным», но это до того «само собою разумеется», что я счел позорным отвечать для пятого класса.

И исключили. В тот час у него умер и отец. Он поступил на службу (чтобы поддерживать мать с детьми), – сперва в полицейское управление, – и писал мне отчаянные письма («Вася, думали ли мы, что придется служить в проклятой полиции»), потом – на почту, и «теперь работаю в сортировочной» (сортировка писем по городам).

В то же время где-нибудь аккуратный и хорошенький мальчик «Сереза Муромцев»[23 - Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910) - один из основателей и лидеров конституционно-демократической партии, в 1884 году был лишен кафедры Московского университета за “политическую неблагонадежность”. В 1906 году - председатель 1-й Государственной Думы и совещания ее членов в Выборге после роспуска Думы.] учился отлично, директор его гладил по голове, кончил с медалью, в университете – тоже с медалью, наконец – профессор «с небольшой оппозицией»... И

До хорошего местечка

Доползешь ужом.

Вышел в председатели 1-й Госуд. думы. И произнес знаменитое mot[24 - mot (франц.) - словцо, остроумное выражение, находчивая реплика.]: «Государственная дума не может ошибаться». Неужели мой Костя мог бы так провалиться на государственном экзамене??!!

Да, он кум не знал, но он был ловок, силен, умен, тактичен «во всяких делах мира». А как греб на лодке! а как – потихоньку – пил пиво и играл на билиарде! И читал, читал запоем.

Где этот милый товарищ?!

Александр Петрович, побрякивая цепочкой часов, остановил меня в коридоре:

– Розанов, у вас ни одной этимологической ошибки...

Я стоял, скромно опустив голову, как Мадонна на «Благовещении» у Боттичелли.

– Но синтаксис... невозможный. Отвратительно!!! Отчего это??!!

Молчу. Улыбаюсь извинительно!

А очень просто. Как нам продиктуют работу, то бедные мои товарищи так и спешат, и спешат. «Плохой же Розанов» хитрым образом положит руки в карманы. Посмотрит на окошечко. Посмотрит на солнышко. И, лишь совершенно успокоясь и ни малейше не волнуясь, «пристывает».

Я очень хорошо знал, что «ни за какой синтаксис не поставят двойки» (не имеют права), а двойки ставят только за этимологию. И вопрос был в том, чтобы не сделать этимологической ошибки. Так как optativus'ов и conjunctivus'ов[25 - Речь идет о двух из четырех наклонений в греческом глаголе: сослагательном или конъюнктиве (modus conjunctivus) и желательном или оптативе (modus optativus); для этих двух наклонений в русском языке нет соответствующих форм.] я не знал, – или помнил что-то вроде «каши» (спуталось в голове), – то я

породоножю передельвал (переиначивал чуть-чуть) строеные фразы, и, понаставив (мысленно, передельвая) союзю и прочее, – везде обходился с одними «изъявительными». Персы и греки у меня черт знает как говорили: но грызущий перо в досаде учитель не имел права подчеркнуть двумя чертами («грубая этимологическая ошибка»).

Этот бедный Александр Петрович (Заболотский)[26 - Александр Петрович Заболотский преподавал греческий язык в нижегородской гимназии, где Розанов учился с 1872 по 1878 гг.] – умер от круглой язвы желудка, – в Вязьме. Он был очень добр и снисходителен к ученикам. Ученики же его ужасно измучивали. И тут – болезнь. Уже лет за 20 до смерти он все хворал желудком и ездил в Эссенуки лечиться – «катар». – Но это был не катар, а начало круглой язвы желудка. Вся жизнь его была тусклая и несчастная.

(испытание зрелости по греческому языку).

Мамочка никогда не умела отличить клубов дыма от пара и, войдя в горячее отделение бани, где я поддал себе на полок, вскрикивала со страхом: «Какой угар!..» Также она не умела отпереть никакого замка, если отпирание не заключалось в простом поворачивании ключа вправо. Когда я ей объяснил, что нужно же писать «мнѢ» и вообще в дательном падеже – Ъ, то она, не пытаясь вникнуть и разобраться, вообще везде предпочла писать Ъ. Когда я ей объяснил, что лучше везде писать е, то она уже не стала переучиваться, и удержала старую привычку (т. е. везде Ъ).

Вообще она не могла вникнуть ни в какие хитрости и ни в какие глупости (мелочи): слушая их ухом, она не прилежала к ним умом.

Но она высмотрела детям все лучшие школы в Петербурге Пошла к Штембергу (для Васи). Директор очень понравился. Но, выйдя на двор, во время роспуска учеников, она стала за ними наблюдать: и, придя, изложила мне, что все хорошо, и директор, и порядок, но как-то вульгарен будет состав товарищей. Пошла в школу Тенишевой, – и сказала твердое: «Туда». Девочкам выбрала гимназию Стоюниной, а нервной, падающей на бок, Тане, как и неукротимой Варваре, выбрала школу Левицкой. И действительно, для оттенков детей подошли именно эти оттенки школ; она их не угадала, а твердо выверила.

Вообще твердость суждения и поступка – в ней постоянны. Никакой каши и мямленья, нерешительности и колебания. И никогда «сразу», «с азарту», «вдруг». Самое колебание продолжалось 2–3 дня, и она ужасно в них работала умом и всей натурой.

А замка не умела отпереть: ибо это и действительно ведь глупость. Ибо замки ведь вообще должны запирасть, и – только, т. е. все «направо», а что сверх сего – «от лукавого». И она «от лукавого» не понимала.

В Ельце кой-что мне грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер. Вдруг к вечеру с пылающим лицом она входит в мою квартиру, в доме Рогачевой. И, едва поцеловав, заговорила:

– Я сказала Тихону[27 - Тихон - Тихон Дмитриевич Руднев, брат Варвары Дмитриевны.] (брат, юрист)... Он сказал, что это Сибирем пахнет.

– Сибирью...

– Сибирем, – она поправила, – равнодушная к форме и выговаривая, как восприняло ухо. Она была занята мыслью о ссылке, а не грамматикой.

Крепко схватив, я ее осыпал поцелуями. И до сих пор эта тревога за любимого у меня не разъединима с «Сибирем пахнет».

Она вся пылала, торопилась и запрещала (т. е. покупать револьвер). Да я и стрелять не умел.

Она вышла из 3-го класса гимназии. Именно она все пачкала (замуслякивала) чернилами парту заметив, что Иван Павлович (Леонов), говоря ученицам объяснения, опирался (он был огромного роста и толстый) пальцами на стол. Тот все пачкался. Пожаловался. И поставили в поведении «4». Мамаша (Ал. Адр. Руднева), вообразив, что «4 в поведении девушке» — марает ее и намекает на «VII заповедь», оскорбилась и сказала:

«Не ходи больше. Я возьму тебя из гимназии. Они не смеют порочить девушку».

Это, кстати, и совпало с началом влюбления в Михаила Павловича «Мамаша, бывало, посылает за бумагой (нитки) я воспользуюсь и мигом пролечу в Черную Слободу, – чтобы хоть взглянуть на дом, где он жил».

Удивительна все-таки непроницательность нашей критики... Я добр или по крайней мере совершенно не злобен. Даже лица, причинившие мне неисчерпаемое страдание и унижение, Афонька и Тертый[28 - Афонька и Тертый - Афанасий Васильевич Васильев (1851-?), славянофил, непосредственный начальник Розанова по Государственному контролю, где в департаменте по железнодорожной отчетности Розанов прослужил с 1893 по 1899 год. Тертый Иванович Филиппов (1825-1899) - государственный контролер; славянофил, писатель по церковным вопросам; друг и покровитель К. Н. Леонтьева. Розановская статья “Эстетическое понимание истории” послужила началом переписки Филиппова с Розановым, завершившейся предложением учителю гимназии переехать в Петербург для работы в Контроле. Последующие взаимоотношения Розанова с сановником-славянофилом оставались крайне напряженными. “Служу я, - писал Розанов А. П. Устьянскому в 1898 г. - чиновником особых поручений при Государственном Контролере, откомандированным в Департамент железнодорожной отчетности, где состою исполняющим обязанности младшего ревизора и получаю 150 р. В силу не расположения ко мне Государственного Контролера, Филиппова (по видимому, он желал и надеялся, что я стану поддерживать его церковные тенденции и вообще разные литературные махинации) - положение мое в Контроле весьма шатко и неудобно. Ум у Филиппова светлый, но это - темный человек, и у него нет шага без расчета, как и нет слова - от сердца.” (РО ГБЛ, ф. 249, ед. хр. 4229, л. 7; ср.: В. Розанов. “Литературные изгнанники”, с. 383-385).], – не возбуждают во мне собственно злобы, а только смешное и «не желаю смотреть». Но никогда не «играла мысль» о их страдании. Струве[29 - Петр Бернгардович Струве (1870-1944) - экономист, общественный деятель и публицист, редактор журнала “Русская мысль” (1907-1918), на страницах которого напечатал статью: “В. В. Розанов - большой писатель с органическим пороком” (1910, ноябрь), вызвавшую ответные выступления Розанова (“Литературные и политические афоризмы”). -

Новое время”, 1910, 25 и 28 ноября, 9 декабря) и бурную реакцию почти всей русскоязычной прессы того времени. Многие современники восприняли статью Струве как начало систематической травли Розанова со стороны либеральных кругов.] – ну да, я хотел бы поколотить его, но добродушно, в спину. Господи, если бы мне «ударить» его, я расплакался бы и сказал: «Ударь меня вдвое». Таким образом, никогда мести мне не приходила на ум. Она приходила разве в отношении учреждений, государственности, церкви. Но это – не лица, не душа.

Таким образом, самая суть моя есть доброта – самая обыкновенная, без «экивоков». Ничье страданье мне не рисовалось как мое наслаждение, – и в этом все дело, в этом суть «демонизма». Которого я совершенно лишен, – до непредставления его и у кого-нибудь. Мне кажется, что это все выдуманно, преимущественно дворянами, как Байрон, – и от молодости. «Были сказки о домовых, а потом выдумали занимательнее – демон».

Печальный и пр. и пр.

...

Между тем все статьи обо мне начинаются определениями: «демонизм в Р.»[30 - Наиболее ярко тезис о «демонизме Розанова» был сформулирован литературным критиком «православной ориентации» А. С. Глинкой (Волжским) (1878-1940) в его статье «Мистический пантеизм В. В. Розанова», первоначально напечатанной в журналах «Новый путь» (1904, декабрь) и «Вопросы жизни» (1905, январь-март): «На пути розановского устремления, в его попытках теитизировать пол, в ужасе разверзнутся зияющие своей беспросветной темной глубиной бездны, раскрываются страшные, бездонные пропасти, из которых несется страшно-щекочущий сатанинский хохот, бегут странно дрожащие черные тени, загораются зловещие, дразнящие красные огни демонизма. В глубине глубин пантеистической мистики Розанова страшная точка ее, черное жерло жизни, в ее провалах и углублениях к потусветному, ноуменальному, вдруг загорается огненно-красным дьявольским светом». (Волжский. Из мира литературных исканий. Сборник статей. СПб., 1906, с. 351).]. И ищут, ищут. Я читаю: просто – ничего не понимаю. «Это – не я». Впечатление до такой степени чужое, что даже странно, что пестрит моя фамилия. Пишут о «корове», и что она «прыгает», даже потихоньку «танцует», а главное – у нее «клыки» и «по ночам глаза светят зеленым блеском». Это ужасно странно и нелепо, и такое нелепое я выношу изо всего, что обо мне писали Мережковский[31 - Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866-1941) - поэт, писатель, литературный критик, проповедник «нового религиозного сознания». В конце 90-х - начале 900-х годов был близок с Розановым, называл его «русским Ницше» и сочувственно относился к его религиозно-философской интерпретации проблем пола. Сближение Мережковского с социалистами-революционерами в середине 900-х годов привело, в конце концов, к общественному и личному противостоянию двух писателей. В 1914 г. Мережковский был инициатором исключения Розанова из Религиозно-философского общества.], Волжский Закржевский[32 - Александр Карлович Закржевский (1886-1916) - киевский литератор и критик, с 1909 г. - корреспондент Розанова, автор книг «Карамазовщина. Психологические параллели» Киев, 1912; «Религия. Психологические параллели» Киев, 1913, в которых есть главы, посвященные творчеству Розанова. В книге «Карамазовщина» читаем о Розанове: «Вот философ, который весь вышел из Карамазовщины, из адского кипения жизни, из неотравленного колодца таких глубин, о которых нам, современникам, может быть, и не снилось еще!... Несомненно, он от Федора Павловича, плоть от плоти, кость от костей его, это может быть возмужавший и созревший монашек Алеша, может быть перешедший границу тридцатилетнего возраста Иван, может быть углубившийся и побывавший около очагов культуры — Дмитрий. ...Творчество Розанова, его душа до того усложнены, до того уклончивы и многообразны, что в одной статье невозможно дать определенной характеристики, нельзя охватить всего Розанова. Много у него различных ликов, и маски его бесчисленны. До сущности же докопаться трудно, а если и постигнешь ее, - то она сейчас же станет новой маской, и снова таинственно засмеется и снова исчезнет во тьме. И вот это-то и есть то, что я особенно ценю в этом художнике.], Куклярский[33 - Федор Федорович Куклярский - философ, автор книг, в которых анализируется также проблематика и творчество Розанова: «Философия индивидуализма» (СПб., 1910); «Осужденный мир. Философия человекоборческой природы» (СПб., 1912). В последней он пишет: «Розанов - типичный аналитик христианства, при чем анализ его с годами все более углубляется, принимает все более и более интимный характер и, вместе с тем, все более сосредотачивается на ненормальных и темных чертах христианского откровения. В этом последнем отношении Розанов является прямым продолжателем Константина Леонтьева, с той, однако, разницей, что Леонтьев сатанизировал христианство во имя отрицания человека, тогда как Розанов сатанизирует его путем апелляции к натуральным родовым инстинктам человека» (с. 207). В одном из писем Куклярский писал Розанову: «Могу без обиняков сказать, что я - ярый противник христианства и, пожалуй, Христа, но не знаю, насколько моя платформа близка к Вашей. Кроме Л. Шестова и Вас я не вижу вокруг себя никого, кто мог бы сказать мне несколько утешительных слов» (РО ГБЛ ф. 249, ед. хр. 3876, л. 37). Письма предваряет розановская характеристика: «Куклярский Фед. Фед. (совершенно - оказалось - невозможный господин) лет 26-28-24? Очень красив, изящен: но «Дай денег». (Там же, л.34).] (только у Чуковского[34 - Корней Иванович Чуковский (псевдоним Корнейчука Николая Васильевича; 1882-1969) - литературный критик, литературовед, переводчик, детский писатель. О Розанове Чуковский писал неоднократно: см., например, «Прохожий и революция» (газ. «Свобода и жизнь», 1906, 16 (29) октября); «Открытое письмо В. В. Розанову» (газ. «Речь», 1910, 24 окт. (6 ноября)); «Андреев в русской критике по статьям Розанова» в его кн.: «Леонид Андреев большой и маленький». СПб., 1908. Poleмически заостренную характеристику Чуковского-литературного критика Розанов дал в статье «Богатый и убогий» (газ. «Новое время», 1911, 22 марта): «Странно. Пишет превосходно, а впечатлений нет. Уж много лет пишет, а никак не скажешь: «вот какую мысль проводит этот писатель». Очень странно для писателя: не проводит никакой мысли. Что же он пишет? - А так, пишет. И превосходно пишет». В каком роде? для чего? - «Он, собственно, клюется. Клюнул одного. Клюнул другого». - «Да для чего?!» - «А так, чтобы вышло осязательное впечатление. Больше ни для чего»... Странно... Не столько писатель, сколько воробей: потому что, если Чуковского самого спросить, на кого он походит, на орла или воробья, то он, залившись краской стыда, смущенно и невнятно пробормочет: «Конечно, на воробья, орлиного во мне ничего нет. И я клюю все маленькое, маленьким клювом и маленькие зернышки». В самом деле, страсть его разбираться все мелочи, писать о мелочах в писателе, и, по возможности, о мелочах в самом мелком писателе, которого и не читает никто, которого даже почти никто и не знает, - изумительна! Поистине, это критик о Вербицкой. Послушайте: он ни за что в свете и никогда не напишет статьи о Толстом и Достоевском. Самая талантливая его статья-лекция была... о Нате Пинкертоне в русской литературе и о кинематографе как отделе литературы!».] строк 8 индивидуально-верных, – о давлении крови, о температуре, о множестве сердец). С Ницше... никакой сходства! С Леонтьевым – никакого же личного (сход.). Я только люблю его. Но сходство и «люблю» – разное.

Я самый обыкновенный человек; позвольте полный титул: «коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения».

Теперь, эти «сочинения»... Да, мне мною пришло на ум, чего раньше никому не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По

сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя первым. Мне иногда кажется, что я понял в сю историю так, как бы «держу ее в руке», как бы историю я сам сотворил, – с таким же чувством уроднения и полного постижения. Но сюда я выведен был своим «положением» («друг» и история с ним), да и пришли лишь именно мысли, а это – не я сам. Я – добрый и малый (parvus[35 - parvus (лат.) - мальчик, ребенок; маленький, слабый, смиренный.]); а если «мысли» действительно великие, то разве мальчик не «открывает солнца», и «звезд», всю «поднебесную», и что «яблоко падает» (открытие Ньютона), и даже труднейшее и глубочайшее – первую молитву. Вот я такой «мальчик с неутертым носом», – «все открывший». Это мое положение, но не я. От этого я считаю себя, что «в Боге»... У меня есть серьезная уверенность: – Бог для того-то и подвел меня (точно взяв за руку) встретиться с «другом», чтобы я безмерно наивным и добрым взглядом увидел «море зла и гибели», вообще сокрытое «от премудрых земли», о чем не догадывались никогда деревянные попы, да и «святые» их категории, – не догадывался никто, считая все за «эмпирию», «случай» и «бывающее», тогда как это суть, душа и от самого источника. Слушайте, человеки, что для нас самое убедительное? Нечто, что мы сами увидели, узнали, ущупали, унюхали. Ну, словом: знаю — и баста. Так для жулика – самое ясное, что он может отпереть всякий замок отверткой; для финансиста – что не ошибется в бирже; для Маркса – что рабочим надо дать могущество; и прочее. Всякий человек живет немногими знаниями, которые суть плод его жизни, именно его; опыта, страдания, нюха и зрения. Для меня (ведь внутренность же свою я знаю) было ясно в Е., 1886–1891 гг., что я – погибал, что я – не нужен, что я, наконец, – озлоблен (вот тогда «демонизм» был), что я весь гибну, может быть, в разврате, в картах, вернее же в какой-то жалкой уездной пыли, написав лишь свое «О понимании», над которым все смеялись...

Тогда я жил оставленный, брошенный – без моей вины. Обошел человек и сделал вред.

Вдруг я встречаю, при умирании третьего (товарищ), слезы... Я удивился... «Что такое слезы?» «Я никогда не плачу». «Не понимаю, не чувствую».

Я весь задеревенел в своей злобе и оставленности и мелких «картишках».

Плач, – у гроба третьего[36 - У гроба третьего - т. е. у гроба учителя И. Ф. Петропавловского, упомянутого в начале “Смертного”.] - был для меня что яблоко для Ньютона. «Так вот, можно жалеть, плакать»... Удивленный, пораженный, я стал вникать, вслушиваться, смотреть.

Та же судьба, та же оставленность. Но реагирующая на зло плачем в себе, без осуждения, без недоумения, без всякой злобы, без догадки, что есть в мире злоба, вот «демонизм», вот «бесовщина».

Я подал руку, – долго не принимаемую, по неуверенности. Ведь я ходил в резиновых глубоких галошах в июне месяце, и вообще был «чучело». Да и «невозможно» было (администрация и проч.). Но колебания быстро прошли: случилось (от нервности) несчастье (оказавшееся через несколько месяцев мнимым), – которое, так сказать, «резиновые калоши» простирало до преисподней и делало меня «совершенно невозможным». Но «слезы по третьем» решили все: именно когда казалось все «разрушенным и погибшим», и до скончания веков, когда подойти ко мне значило погибнуть самому (особенная личная тайна), и я обо всем этом честно рассказал, – рука протянулась со словами «колебания кончились». Дальше, больше, годы, вдруг бороды лопатой говорят:

– Стоп!

Не обращаю внимания, но за ними и высокопросвещенные люди, как С.А. Рачинский[37 - Сергей Александрович Рачинский (1833-1902) - профессор Московского университета, затем - создатель церковно-приходских школ в своем имении Татево. Знакомство Розанова с Рачинским произошло в 1891 году. Розанов с большим интересом относился к педагогическим идеям Рачинского (см. напр., “С. А. Рачинский о средней школе”. - “Новое время”, 1902, 22 января; “С. А. Рачинский и его Татево”. - Там же, 22 мая), однако резко разошелся с ним в вопросах семьи и брака. Позже Розанов писал: “Между теми, кто знал меня, да и из незнавших — многие, отнеслись - “отвергая мои идеи”, враждуя с ними в печати и устно - не только добро ко мне, но и любяще... Исключением был только С. А. Рачинский, один, который “Возненавидел брата своего” (после статей о браке в “Русском труде” и в “С.-Петербургских ведомостях”) (В. Розанов. “Уединенное”. Пг., 1916, 2 изд. с. 138-139). Письма Рачинского к Розанову (с купюрами) были напечатаны в журнале “Русский вестник” (1902, No 10-11, 1903, No 1).], говорят:

– Нельзя.

«Что такое»?! Будь я «в панталонах мальчик», я ничего особенного бы не понял, не постигнул. Нужно было бесконечно наивной природе (я) столкнуться с фактом, чтобы понять... что «ведь это искусственное дело падать вниз яблоку, оторвавшемуся от ветки: натурально оно должно бы оставаться в воздухе; а уж если лететь, то почему же не вверх, а вниз: значит – земля притягивает». Я понял (и первый я), что не в «лопатах» дело, которым «все равно», и не в Рачинском, который благочестив, ко мне добр, а в другом, от чего Рачинский не хотел отстать, а «лопаты» приставлены «к этому забору». Кому-то далекому-далекому, чему-то великому-великому, нужно...

– Что нужно?

«– Играйте вы по-прежнему в преферанс, – ну, и погибнете, но мало ли же вообще людей гибнет. И этот «друг» ваш (с скрытною уже тогда болезнью)... тоже погибнет... Но ведь что же?.. Ведь это вообще есть, бывает, – бывает смерть и болезнь, и разврат, и пустота жизни или лица... Ну, и что же особенного тут, чему же волноваться...»

– Да нет, не в этом дело, а что я был злобен, остервенен, забыл Бога, людей мне было не нужно... А теперь и совсем ваш же с образами, лампадкой, христианством, Христом, с Церковью... Я – ваш.

«– Именно – не «наш», а такого нам вовсе не нужно, поскольку вы вдвоем, соединены. И будете «наши» – лишь разъединясь».

– «Разъединясь»?.. Значит – опять в злобу, в атеизм, вред людям...

«– Это уже наше дело, мы все берем на себя. О злобе вашей помолимся, и атеизм – замолим, и вообще все обойдется, потихоньку и не

колко. Ну кто не вредит людям, и разве все так особенно «верую». А обходится. Будет сохранен порядок: а если вы погибнете в разделении, то ведь людей вообще всяких и постоянно очень много гибнет. Ничего нового и даже, извините, ничего интересного».

Конечно, при «упрямстве» можно было бы «преломить», и вышла бы грубость, но никакого открытия. Но я был именно кроток, – как и наивность или «натуральность» (дикий человек) простиралась до того, что я годы ничего не замечал... Как годы же потом шло мое «ньютоновское открытие», что «яблоко очень просто падает на землю» от того-то.

Раз я стоял во Введенской церкви с Таней[38 - Татьяна Васильевна Розанова (1895-1975) - вторая дочь Розанова; была крещена в С.-Петербургской Введенской (что на Петербургской стороне) церкви при восприемниках Николае Николаевиче Страхове и Ольге Ивановне Романовой. После крещения дочь Розанова была официально записана как Татьяна Николаевна Николаева, - так, по имени крестного отца, обычно регистрировались все «незаконнорожденные».], которой было три года.

Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это – в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно – тихо, особенно – один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка[39 - Первый ребенок - дочь Надя (6 ноября 1892 - 25 сентября 1893).], и почти не считали, что «выживет». И вот, тихо-тихо. Все прекрасно. Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:

«...вы здесь – чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то «так» и «что следует», придя «вдвоем» как «отец и дочка». Вы – «смутьяны», от вас «смута» именно от того, что вы «отец и дочка» и вот так распоясались и «смело вдвоем».

И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою... Зажались от нас... Ушли в свое «правильное», когда мы были «неправильные». Ушли, отчуждились... и как будто указали, или сказали: «Здесь – не ваше место, а – других и настоящих, вы же подите в другое место, а где его адрес – нам все равно».

Но, повторяю, жулик знает, чем «отвертывать замки», а «кто молится» и счастлив – тоже знает, что он – молится именно, и – именно счастлив; что у него «хорошо на душе»; и вообще что в это время, вот, может быть, на одну эту минуту в жизни, – он сам хорош.

Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. «Как все».

Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но впервые эту мысль сказавший, без предварений и подготовки, как «внезапное», «вдруг», «откуда-то», то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и как победитель. Победитель того, чего никто не побеждал, даже того, кого никто не побеждал.

– Пойдем, Таня, отсюда...

– Пора домой?

– Да... домой пора.

И вышли. Тут все дело в «отмычке», которая отпирает, и – «в кротости, которую я знал».

Я как бы вынес кротость с собою, и мою «к Богу молитву» – с собою же, и Таню – с собою: и что-то (земля и небо) так повернулось около меня, что я почувствовал:

«– Кротость-то у меня, а у нас – стены. И у меня – молитва, а у нас опять же – стены. И Бог со мною. И религия во мне. И в судьбе. Вся судьба и «свелась» для этого мгновения. Чтобы тайное и существовавшее всегда наконец-то сделалось явным, осязательным, очевидным, обоняемым».

...«Вы именно жестоки и горды («отмычка» у меня)... Именно – холодны... Бога в вас нет, и у вас нет, ничего нет, кроме слов... обещаний, надежд, пустоты и звона. Все вы и вся полнота ваших средств и орудий, ваших богатств и библиотек, учености и мудрости, и самых, как вы говорите, «благодатных таинств», не могут сотворить капельку добра, живого, наличного, реального, если оно ново в веках, не по шаблону и прежде бывавшим примерам, и тут не то, чтобы вы «не можете», – все вы, бороды лопатою, или добры сами по себе, или вам «все равно», а что-то вас задерживает, и новое зло вы легко сотворяете, вот как приходскому духовенству в Петербурге обобщать не приходское, да и вообще много нового злого: а вот на «доброе», тоже новое, – связаны ваши руки какою-то страшною, вам самим неведомою силою, которая так же «далека», «неосязаема» и «повсеместна»... как ньютоново тяготение. Которое я открыл и с него начнется новая эра миропостижения, все – новое, хоть начинай считать «первый год», «второй год». Это, должно быть, было в 1896 году или 1897 году.

Ах, как все это мне надоело и опротивело.

(сейчас и часто, – о хламе, рвущемся с улицы в дом: сторонние письма, просьбы о «рецензиях», еще просьбы почему-то об «устройстве на должность» и о прочтении «их рукописей»).

Почему-то мамин испуг был творческий, а мой испуг был парализованный. У нее испуг переходил во взрыв деятельности, притом целесообразной, у меня – в бессилие слез, отчаяние, писем (жалоба, рассказ).

Так была история ее с Шурой (поп, обморок, Мержеевский[40 - Иван Павлович Мержеевский (1838-1908) - психиатр, профессор Военно-медицинской академии, знакомый Розанова, лечивший Варвару Дмитриевну. См. о нем: В. Розанов. «Памяти И. П. Мержеевского». - «Новое время», 1908, 8 марта.]) и история с приговором Анфимова[41 - Яков Афанасьевич Анфимов (1852- ?) - невропатолог, летом 1898 года (а не 1897, как ошибочно указывает Розанов) он первый сообщил о разрушительной болезни, угрожавшей Варваре Дмитриевне. В одном из писем П. П. Перцову Розанов писал: «Узнав в Пятигорске о неисцелимой болезни Вари - я был сломан, костей не

осталось (совершенно не предвиденное открытие, мы поехали - веселиться). Тут я пережил минуту Иова...» Ошибка авторитетного Бехтерева, отменившего диагноз Анфимова в том же году, привела к прогрессированию болезни у Варвары Дмитриевны. Подробно об этом Розанов пишет в «Опавших листьях» (СПб., 1913, с.383-388).] (открытие болезни в 1897 г. в Пятигорске): я повез ее через Военно-Грузинскую дорогу и в Крым «показать всю красоту мира», перед засыханием. Но никакого уменьшения борьбы. Чтобы «бороться», ведь нужно идти размеренным шагом: меня же трясло и я лежал как больной.

С выпученными глазами и облизывающийся – вот моя внешность. Некрасиво? И только чрезмерным усилием мог привести себя, на час на два в *сomme il faut* [42 - *сomme il faut* (франц.) - приличный, порядочный.].

«...дорого назначаете цену книгам». Но это преднамеренно: книга – не дешевка, не разврат, не пойло, которое заманивает «опустившегося человека». Не дева из цирка, которая соблазняет дешевизною.

Книгу нужно уважать: и первый этот знак – готовность дорого заплатить.

Затем, сказать ли, мои книги – лекарство, а лекарство вообще стоит дороже водки. И приготовление – сложнее, и вещества (душа, мозг) положены более ценные.

Бабушка звала ее «Санюшей», мы – «Шурой», но сама она никогда так не называла себя и не подписывалась на письмах. А – или «Аля», или сдержаннее – «А». Так звали ее подруги, начиная с поступления на французские курсы. Зеня и Марта, потом усиленно одна Зеня, потом долгие годы только Марта, потом – «Вера» и все залила «Женя» и наконец окончательно всех залила «Наташа». «Аля», «Алечка», «наша Аля», «моя Аля». Дети стали звать ее тоже «Алей» и «Алюсей».

И она как игралась и купалась в этих перекличках своего имени.

Только стала все худеть. Теперь уже 30: и при высоком росте она легче, чем 13-летняя Надя.

Отчего это – никто не понимает.

Она грустна и весела. Больна и все цветет.

Домой она только захаживает.

– Что, мамочка, лучше? О, да, конечно, лучше: ты сегодня можешь сидеть (т. е. не лежишь). Гораздо лучше...

И, отвернувшись, ловила улыбку подруги где-нибудь наискось.

– Ничего, мамочка, я приду! приду! Сегодня я спешу в Публичную (библ.). Прощай. Завтракать не буду.

И уже дверь хлопнула.

Она всегда была уходящей, или – мелькающей.

А бывало:

... ..

... ..

– Варя. Опять дырявые перчатки? Ведь я же купил тебе новые? Молчит.

– Варя. Где перчатки?

– Я Шуре отдала.

Ей было 12 лет. Она же «дама» и «жена».

Так ходила она всегда «дамой в худых перчатках». Теперь (2 года) все лежит, и руки сжаты в кулачок.

Не всякую мысль можно записать, а только если она музыкальна.

И «У.» никто не повторит.

«Наш Добчинский до всего добежит»...

Начал он социал-демократом и пробыл им чуть не до 40 лет. Но все полемизировал с Михайловским [43 - Николай Константинович Михайловский (1842-1904) - теоретик народничества, литературный критик, публицист. Розанов, как и Ипполит Андреевич Гофштеттер (1860-1951) - журналист газеты «Новое время», которого Розанов иронически именовал Добчинским, - также полемизировал с Михайловским, правда, с позиций славянофильских и религиозно-философских (см. например, его статьи: «Может ли быть мозаична историческая культура?» - «Московские ведомости», 1892, 20 июля; «Еще о мозаичности и эклектизме в истории». - Там же, 17 октября; «Писатель семидесятых годов. Н. К. Михайловский». - «Новое Время», 1900, 16 июня; «Счастливый обладатель своих способностей». - «Мир искусства», 1902, № 9-10; «Критика г. Михайловского». - «Новое время», 1902, 1 сентября; ср.: «Февральские потери» <О смерти Н. К. Михайловского». - «Новое время», 1904, 3 марта).], а Мих. его не замечал. Тогда он стал поворачивать к государственности и народности. И теперь один из самых яростных публицистов-националистов и государственников. На все накидывается. И все его не замечают.

В этом рок. Быть незамеченным.

Умен он? Во всяком случае, не глуп. В школах не учился, ни в каких. Но много читал, – брошюр; газеты век читал. И пытался хоть изредка читать серьезные книги.

«Я говорю Столыпину»[44 - Александр Аркадьевич Столыпин (1863-?) - публицист, сотрудник газеты “Новое время”, брат председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911)]....

– А. А.?

– Не-ет! (сладко): Пе-тру Арка-дье-вичу! Говорю ему: «Я совершенно не согласен с вашей программой».

Наш Добчинский до всего добежал. «Как он попал к Столыпину?» Не так легко. И зачем? Значит, просил аудиенции. Но для чего? Чтобы сказать: «Я с вами не согласен». Но Столыпин хорошо знал, что «с ним многие не согласны». Почему же сказать? Чтобы Столыпин знал, что «не согласен и Г.».

Это – Добчинский.

А так угрюм. Молчит. В таких лохмотьях ходит. И читая «бранные на все стороны» статьи, никому не придет на ум, что под ними скрыто скромное существо Добчинского.

Одному ли мне он говорил, что «был у Столыпина, целый час был!» – и что «сказал ему, что не одобряет его действий»? Со мной он редко видится, и, значит, об этом он говорил множеству. В этом и крючок.

Бедный Добчинский.

Но между тем как он пылает в статья! Или, вернее, – «быстро бегаёт в статьях». И ближние его уверяют, что это «самый честный человек в России». Не спорю. Не знаю. Мне кажется вообще о Добчинском неинтересно, честный он или нечестный.

(Гофштеттер).

Мамочка! Мамочка! Вечная наша мамочка.

Один образ – как ты молилась, в Наугейме, Мюнхене, дома, везде...

Вот этот образ (дети его не видели) и прожег мне душу каленой иглой.

Мамочка молится, а я... Мамочка вечно больна, а я постоянно здоров.

И вот ужасное (тогда, всегда), как ураган, чувство: променять мир на «мамочку», разбить все, отречься от всего, уйти от всего — чтобы быть с «мамочкой».

Быть с молитвой и болью.

Это и есть последняя правда моей жизни. После которой, естественно, все прежнее я назвал «ложью».

Я и послан был в мир для «мамочки» и больше ни для кого: осязательно – вот скопить 35 000 и ездить в больницу. Ну, и душа...

– Пора, – сказала мамаша.

И мы вышли в городской сад. На мне был черный сюртук и летнее пальто. Она в белом платье, и сверху что-то. В начале июня. Экзамены кончились, и на душе никакой заботы. Будущее светло.

Солнце было жаркое. Мы прогуливались по главной аллее, и уже сделали два тура, когда в «боковушке» Ивана Павловича[45 - Иван Павлович Бутягин - священник, тайно обвенчавший Розанова с Варварой Дмитриевной 5 июня 1891 года в домово́й церкви Колабанского детского приюта в г. Ельце; брат первого мужа Варвары Дмитриевны. Как явствует из письма Розанова митрополиту Антонию, именно этот “молодой, резкий, грубоватый священник” и был инициатором венчания: “в присутствии нынешней моей жены он завел со старым протоиереем следующий разговор: “я могу В. Д. повенчать с В. В. (со мной)”. - “Что ты, с ума сошел - с женатым человеком”. - “Нет, отец протоиерей: скажите мне, что требуется венчающему священнику?” Тот исчисляет. - “Нет, я вас спрашиваю о канонах, а не правилах: ничего я не должен знать, кроме согласия жениха и невесты”. “По канонам - конечно, но...” Но тот ему закрыл речь: “Я так же каноны хорошо знаю, как вы, и вы меня не оспорите, что как иерей - я решительно ничего не должен знать, кроме сводного согласия венчающихся”. - “Конечно”. Как старик сказал “конечно” (а он был чрезвычайно уважаемый, глубоко осторожный священник, до известной степени глубокий политик), - невеста моя возлюбленная выбежала, прибежала ко мне и рассказала как бы о пожаре Москвы. До того это и мне и ей было удивительно. Теперь я знаю по каноническому праву, что - так (одно согласие нужно), но тогда понятия не имел. А священник этот, решительный и смелый, пришел ко мне и сказал тоже, конечно - венчание без записей, без свидетелей, чисто тайное и только для совести, в приютской церкви (где он священствовал). Старушка моя (мать невесты) плакала две недели, колеблясь, исповедалась (духовный отец - священник у Введения) и по духу отец духовный ей сказал (он меня слегка знал, их же всех - от роду знал): “Ну, что же делать, хуже - будут так после твоей смерти жить” (что и верно случилось бы). Так все и произошло. Мы вошли в церковь, в воскресенье в час дня, под предлогом осмотреть ее - он запер ее на ключ, - и без всякой робости, с венцами (потом пожертвовал в другую церковь), истово - нас повенчал, и повенчав сказал мне трогательное слово, что я должен жену мою (2-ую) усилленно беречь, п. ч. она только отдается в мою совесть и нет у нее другого обеспечения... И вышли мы. Как нас старушка встретила! (еще как она молилась, нас отправляя в церковь): никогда такой горячей, порывистой, минутной молитвы не видал. И во истину, все слава Богу. Вся их семья,

весь их большой род замер в страхе; теперь уже нас принимают, но старик священник (политик) затворился, и все заперлись - в неведении. Только неразлучно с нами была старушка мать, ответом, фактом, делом, безграничной к нам обоим любовью. По условию с венчавшим священником, мы должны были (для предупреждения пересудов) немедленно выехать из Ельца. Так и сделали: я выпросил себе перевод в Белый (Смоленской губернии)...» (ЦГАЛИ, ф. 419 оп. 1 ед. хр. 256 л. 4-5).] отворилось окно, и, почти закрывая «зычной фигурой» все окно, он показался в нем. Он смеялся и кивнул.

Через минуту он был с нами. Весь огромный, веселый.

– И венцы, Иван Павлович?

– Конечно!

Мы сделали тур. – «Ну, пойдете же». И за ним мы вошли во двор. Он подошел к сторожке. – «Такой-то такой-то (имя и отчество), дай-те-ка ключи от церкви».

Старичок подал огромный ключ, как «от крепости» (видал в соборах: «ключ от крепости», взятой русскими войсками).

– Пойдете, я вам все покажу.

Растворилась со звуком тяжелая дверь. Я «что-то стоял»... И, затворив дверь, он звучно ее запер. «Крепко». Лицо в улыбке, боязни – хоть бы тень. Обоим мы повернулись к лестнице:

Стоит моя Варя на коленях... Как войти по лесенке, – ступеней 6 – то сейчас на стене образ; увидал – «как осененная» Варя бросилась на колени и что-то горячо, пламенно шептала.

Я «ничего». Тоже перекрестился.

Вошли.

А вот и «красное сукно» перед боковым образом. Иван Павлович раньше рассказывал. «Нет прихожан. Одни приютянки. Думал, думал: этот образ всех виднее. И на ступеньках к нему положил красное сукно, а от нижней каймы образа до площадки тоже затянул красным сукном. Народ и повалил. А то очень монотонно было служить. Никого. Теперь и свеч будет много – все к этому образу, и прикладываться – толпы толпами».

– «Все будет как следует». И он отозвал меня в алтарь. Silentium[46 - Silentium (лат.) - молчание.]

И все было хорошо. Тихо. Он все громко произносил, за священника, за диакона, и за певчих (читал). По требнику – который мне подарил, в темно-зеленом переплете (с ним я хотел сняться, когда рисовал портрет Бакст). А самое лучшее – конец.

Он все серьезно делал; а тут еще сделался очень серьезен. Когда мы испили теплоты, он сказал: «Подождите». Мы остановились. И он сказал:

– Помните, Василий Васильевич, что она не имеет, моя дорогая невестка (вдова его покойного брата), никакой другой опоры в жизни, кроме как в вас, в вашей чести, любви к ней и сбережении. И ваш долг перед Богом всегда беречь ее. Других защищает закон, люди. Она – одна, и у нее в мире только один вы. Поцелуйтесь.

Никогда этих слов я ему, милому, не забуду. С этих пор он стал мне дорог и как бы родным. Он уже умер (поел редиски после тифа). Царство ему Небесное.

Вышли. И он также запер дверь. И спокойно передал ключ сторожу, показавшемуся в дверях. Совершенно никого не было. Ни во дворе, ни в доме. «Приютянки» куда-то делись (на дачу?). И сама Калабина – на даче. Она-то ему и прислала, через 2–3 года, «первых редисок». Любила и почитала его за светлый нрав.

– Ну, Бог с вами. Прощайте.

Мы сели (извозч.) и вернулись домой.

И наш домик (против Введения) был пуст. Санюшу отослали в Казаки (к дяде[47 - Дядя - Дмитрий Андрианович Жданов, священник, брат Александры Андриановны Рудневой ("бабушки"), крестный Варвары Дмитриевны.]). Мамаша:

– Все кончилось?

– Да.

Она поцеловала обоих нас. Не помню, тогда (т. е. после церкви) или перед отправлением, она, став на колени перед образами, горячо-горячо молилась за свою Варю, и все поднимала руки: тут-то я заметил, что в горячей молитве руки обращаются ладонями к образам («В мире неясного и нерешенного»)[48 - «В мире неясного и нерешенного» - сборник статей В. В. Розанова (СПб., 1901).]. Она именно так и делала... И молитва ее была прекрасна, и вся она, милая старушка (тогда только пожилая женщина, лет 55-ти), была прекрасна, вдохновенна и мудра.

У нее был духовником отец Иван (Вуколов), «высокий седой священник» (в конце «Легенды об Инквизиторе»). И она все ему сказала, и раньше советовалась, и потом досказала.

Он качал головой.

– Зачем только д.....?

Она была мудрая. И ответила:

– Все-таки же ободряет. Ведь дело страшное.

И как будто вывела его из мучительного затруднения. Он проговорил:

– Да, да! Конечно! Что делать.

Иван Павлович был и ему родственник. Дальний.

Побыли.

– Ну, что же. Надо обедать. Второй час. И побежала вниз в кухню.

Пообедали.

– Ну, я пойду в кухню, уберу посуду. А вы устали, и вам отдохнуть надо. Василий же Васильич всегда спит после обеда. И она меня поцеловала.

Мы легли.

Проснулись.

– Да, мамаша! Давайте чаю.

Напились.

– Ну, теперь пойдите гулять.

Пошли.

И весь город веселый, славный. И я нарядился, и Варя нарядная. Поехали в монастырь мужской, – первый раз. Чуть-чуть за городом. Вошли в аллею огромного сада: смотрим – Иван Павлыч гуляет. Поговорили, пошутили. Игуменом был... не помню, отец Иосиф, но скорее – отец Давид (если возможно). Только имя было – патриархальное. Моррисон же (учитель) рассказывал, что они «всегда туда отправляются, когда при деньгах». И «уединенно» и «можно все».

Иван Павлыч был очень весел. Мы радостны. Поговорили. Поехали домой.

Сейчас я припоминаю, что, значит, экзамены еще не кончились: потому что раз утром из-за двери услышал встревоженный голос мамаш:

– Девятый час!! Что же это я!!! Ему в гимназию.

И – через пять минут самовар. Но «до конца экзаменов» было не больше недели. Потому что столько мы прожили втроем: я, Варя и мамаша. Санюшу задержали в Казаках.

Мамаша была трепетна. Как ее, милую, я люблю до сих пор (и каждый день вспоминаю). Отворив дверь, вся в милом смехе, тихом и изящном, она обратилась ко мне:

– ...нравится ли вам Варя?

– ...н-н-нравится...

– Ну, что – старушка (27 лет). Нужно бы помоложе.

И смех. И смех.

– А нравитесь ли вы-то ей?..

Какая-то застенчивость в душе (у меня).

И всегда, и теперь, и потом, она все около нас. Она ужасно любила свою Варю. Как-то до брака, она говорила:

– Варя никогда не была веселая. Бывало, в девушках – все шумят, возятся. Она сидит где-нибудь отдельно, в уголку.

А Варя рассказывала:

– До 13 лет, уже большая, я все играла «в Академию»: мы чертили на дворе квадрат, потом – поперек, потом – еще поперек. И надо было на одной ножке перескакивать из отделения в отделение. Я уже тогда любила Михаила Павловича.

Мамаша о ней:

– У меня все «не выходило». И дала я обещание Варваре Великомунице, что, как еще заберемену, – поеду поклониться ее мощам в Киев. И вот забеременела. Меня до этого лечил молодой врач-еврей, и очень мной занимался. Он мне предлагал одну меру: «будете здоровы», – но я сказала, что это «против Бога – и я меру не могу принять», и уж «лучше буду больная». Я совсем не могла выходить из дома, и когда надо было на платье купить, то Димитрий Наумыч[49 - Дмитрий Наумович Руднев - священник, муж Александры Андриановны Рудневой, отец Варвары Дмитриевны.] всегда на выбор приносил материй на дом. Забеременев, на половину беременности я поехала в Киев: и усердно молилась, чтобы доносить. И доносила. И назвала «Варварой», потому что мне Варвара Великомуница помогла.

Когда я был в Киеве[50 - В Киеве Розанов был в качестве корреспондента газеты “Новое время” в сентябре 1911 года на похоронах П. А. Столыпина.] (а Варя уже болела), я горячо молился перед теми же мощами о выздоровлении «рабы Божией Варвары» и о «здравии старицы Александры».

Там был очень хороший монах. Я дал 3 рубля – «молиться о больной». А он мне дал, для больной, святой воды.

Так у нас все «вышло». И страшно, а хорошо.

(глубокой ночью).

«Ты уж теперь не испытываешь счастья. Так вспоминаешь прошлое».

(мама, прочтя отрывок об Иван Павловиче и «всем деле» в Ельце).

*

– Вася, ты уйди, я постою.

– Стонай, Варя, при мне...

– Да я тебе мешаю.

– Деточка, кто же с тобой останется, если и я уйду. Да и мне хочется остаться...

(когда Шура вторично ушла, 23 октября 1912 г.[51 - Первый раз Шура ушла из дома на квартиру в 1907 г. по религиозным причинам - под влиянием свящ. Сильвестра Медведева, находившегося в дружбе с Григорием Распутиным. Подробный рассказ Розанова об этом см. в его книге “Апокалипсическая секта” (СПб., 1914). Второй уход из дома был обусловлен дружбой Шуры с курсисткой Натальей Аркадьевной Вальман, которую Розанов и Варвара Дмитриевна не любили.]

На счете по изданиям).

Примечания

1 Множество сокращений имен, названий, понятий, с которыми встречается читатель розановских книг - вовсе не шифры; для Розанова - это неотъемлемая часть “домашнего”: рукописного, бытового, интимного. “Друг”, “бабушка”, “Ш.”, “У.” - все это как бы продолжение бытовых записочек, домашних названий, с первого взгляда понятных своим. Такими “своими”, “домашними” и намерен видеть Розанов любящих читателей.

“Улицы нет. Дверь крепко заперта. Горит старая русская свечка... Сам я в туфлях и гости мои в туфлях. Тут - “мы”... (В. В. Розанов. “Литературные изгнанники”. Т. 1 СПб., 1913, с. IX-X).

И здесь читатель, не заглядывая более в комментарий, “помнит”, “знает”:

В., В-ря, моя Варя, “друг”, “мамочка” - Варвара Дмитриевна Бутягина (урожденная Руднева, 1864-1923), вторая жена Розанова;

Ал. Адр-а, А. А. Р., “бабушка”, “мамаша” - Александра Адриановна Руднева (урожденная Жданова, 1826-1911), мать Варвары Дмитриевны;

“Ш.”, “Санюша”, А., “Аля”, “наша Аля”, “Алюся” - Александра Михайловна Бутягина (1883-1920), дочь Варвары Дмитриевны, падчерица Василия Васильевича;

“У.”, “Уед.”, “Уедин.” - “Уединенное” (СПб., 1912), книга В. В. Розанова: “Самое лучшее и дорогое, что написал за жизнь”.

2 Иван Феоктистович Петропавловский (ум. в 1889 г.) - учитель приготовительного класса в г. Ельце; товарищ Розанова; Розанов и позже считал его “первым умницей в городе”, звал “Датским принцем”, “первым в Дании” (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 21, л. 8).

3 События, о которых рассказывает Розанов, относятся к весне 1889 года. Спустя тринадцать лет, в неопубликованном письме к петербургскому митрополиту Антонию Розанов так описал судьбоносную встречу с “благородной жизнью благородных людей” в домике Рудневых: “Они жили против церкви Введения Пресвятой Богородицы - храм навсегда для меня милый, моя нравственная родина. Где около его стены хотел бы я быть похороненным. Этот Петропавловский был единственным их нахлебником, т. е. семья Рудневых, живших в деревянном домике, где родился преосвященный Иннокентий Одесский (их дядя ли, дед ли). Семья состояла из старушки, моей почтенной теперь матушки, вдовы 27-25 лет, и внуки 3-х лет. Вдова потеряла на 21 году горячо любимого мужа, у которого развилось центральное воспаление мозга и он медленно день за днем слеп, перед смертью лишившись рассудка, и умер. Можно представить горе и особенно грозу, столь медленно надвигавшуюся. Он был благородный человек (т. е. покойный муж молодой вдовы). Все родство их духовное, прелестное, теплое внутри, взаимно помогающее, утонченно деликатное. Раньше я был тоже религиозен, но как-то

бесцерковно; тут я прямо бросился к церкви как “стене нерушимой”, найдя идеальный круг людей именно среди церковников. Не могу иначе объяснить себе доблести этих людей, как все это было тут стародавнее, насиженное, историческое, все три рода - Бутягиных (старый протоиерей, отец покойного мужа молодой вдовы), Рудневых (урожденная фамилия моей жены), Ждановых (дядя по матери). Знакомый, я не был тесно знаком с ними - до смерти Петропавловского. Простудившись и схватив болезнь сердца, он был лечим от желудка, и две недели - прохворав, умер. Вот эта-то смерть, глубоко встревожив всю гимназию, поразив меня (его друга), смертельно поразив семью Рудневых (хозяева), произвела род смятения, оторопелости: все бегали, старались спасти, уже было поздно - и разразилось отчаяние. Что на хлебник хозяевам, судя по матерьяльному? А я, студент, немножко ученый, судил по матерьяльному. Но, конечно, с чаяниями, что есть “где-то кто-то” и не матерьяльный. Я всегда был наблюдателен и подозрителен: когда я увидел, тоже суется и глубоко скорбя о верном своем друге, тот взрыв о нем скорби и слез и отчаяния у этих его “хозяев”, включительно до малютки, которую он всегда звал: “звездочкой” (теперь уже ей 19 лет - и она моя падчерица), я просто нашел второй укор бытия в себе и вместе душевную теплоту, уютность. Похоронили. У него мать была сельская дьячиха.

Вообще все чрезвычайно просто, но, поверьте - чрезвычайно умно, отнюдь не бездарно, отнюдь не провинциально, не захолюстно. Куда Петербургу до провинции (даже в смысле серьезной “интеллигентности”)! Похороны, смерть - снимает преграды; над покойником все быстро дружатся; и установилась у меня та нравственная доверчивость, которая дозволила бывать в доме. А семья эта давно жила под изредка спрашиваемыми советами (“благословил”, “не благословил”) Оптинского старца, знаменитого отца Амвросия. (Я его никогда не видел). Так бывал - бывал - бывал, год, два прошло, и настала любовь - к молодой вдове, послушной дочери, примерной матери, верной памяти мужа. Кроме отрочества, у меня никогда так называемых влюблений не было; повторяю - я скептик и подозрительный человек, немножко - мизантроп. Но уж где найду оазис душевный - я горю перед ним лампадой. Так и здесь настала любовь к месту - этой церкви Введения, седому высокому там священнику (церковь - маленькая, деревянный пол, все богомольцы знают свои места, ни толчеи, ни суеты при службах нет), большой полянке вокруг церкви (ребятишки по веснам играли), домику Рудневых, ребенку, старушке и вдове. Только потому, что нельзя было ни в старушку, ни в ребенка влюбиться, я - просто привязался как к родной вдове. Тут - грация; ласка души; тончайшая деликатность; нежность физическая, неуловимо-милые манеры, а, главное, это чудное отношение к старику свекру, золовкам (сестры мужа), братьям, ко всему - меня прельстило, глубоко одинокого человека. Я думаю, чувство радости и суммы этого родства было главное. Я же и своих родителей потерял рано, так что вообще внесемееен. А чего не имеешь, то любишь. Все знали мое положение (т. е. что есть жена), но, странно - все меня любили, и свекор, и деверья, и дяди, все.” (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 256, л. 3-4).

4 Епископ Ионафан (в миру Иван Наумович Руднев, ум. в 1906 г.) - архиепископ ярославский; брат отца Варвары Дмитриевны (см. о нем: В. Варварин <В. Розанов “Русский Нил.” - “Русское слово”, 1907, 17 июля). Крайне настороженно архиеп. Ионафан отнесся не только к первому, но и ко второму браку Варвары Дмитриевны. В письме к В. В. Розанову от 1 янв. 1899 г. он писал: “Прошедшее у вас и Вари было нехорошо. Если первая ваша жена жива: то вам трудно достигнуть счастья и благополучия... Скажите мне откровенно: дети ваши в метриках записываются законными или нет? От этого зависит будущее счастье или несчастье ваших детей...” (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 470, л. 1).

5 Михаил Павлович Бутягин (ум. ок. 1884 г.) - учитель в Ельце, первый муж Варвары Дмитриевны

6 Семен Афанасьевич Венгеров (1855-1920) - историк литературы, критик и библиограф.

Николай Иванович Кареев (1850-1931) - историк и социолог.

Особенно резко Розанов полемизировал с ними в статье “Погребатели России” (“Новое время”, 1909, 19 ноября). В другом месте Розанов писал о Венгерове и Карееве: “Симпатичное лицо” могло увлечь меня в революцию, могло увлечь и в Церковь, - и я в сущности шел всегда к людям и за людьми, а не к “системе и не за системою убеждений”. Вся напр. моя (многолетняя и язвительная) полемика против Венгерова и Кареева вытекла из того, что оба - толстые, а толстых писателей я терпеть не могу. Но “труды” их были мне нисколько не враждебны -(или “все равно”). (В. В. Розанов. “Литературные изгнанники”. Том первый. СПб., 1913, с.257).

7 Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891) - писатель, философ, литературный критик. Историю знакомства и дружбы с К. Леонтьевым Розанов изложил в предисловии и комментариях к леонтьевским письмам, опубликованным в “Русском вестнике” (1903, апрель, май, июнь): “К. Н. Леонтьева я знал всего лишь неполный год, последний, предсмертный его. Но отношения между нами, поддерживавшиеся только через переписку, сразу поднялись таким высоким пламенем, что не успевши свидеться, мы с ним сделали горячими, вполне доверчивыми друзьями... Строй тогдашних мыслей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что нам не надо было сговариваться, договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины понятно друг в друге...” {Константин Леонтьев. “Письма к Василию Розанову”. London, 1981, с.23}. Первая большая статья Розанова о Леонтьеве (“Эстетическое понимание истории”. - “Русский вестник”, 1892, No 1-3) вызвала оживленный интерес к “провинциальному философу” со стороны таких консервативных писателей, как А. Александров, Ф. Романов (Рцы), Т. Филиппов. На протяжении всей своей жизни Розанов неоднократно возвращался к идеям и личности Леонтьева, с энтузиазмом откликаясь на любые попытки возвращения забытого мыслителя из “литературного изгнания”.

8 Талмуд (в буквальном переводе с древнееврейского - учение, изучение) - свод устного учения, сложившегося в иудаизме в последние века до нашей эры и первые века н. э. Помимо религиозных и правовых предписаний Талмуд содержит также множество исторических, теологических и естественно-научных материалов. Розанов читал Талмуд в русском переводе Н. Переферковича (Талмуд. Мишна и Тосефта, т.1-6, СПб. 1899-1904; Талмуд Вавилонский, СПб., 1909). Рецензия Розанова на 1 том этого перевода появилась в литературном приложении к “Торгово-промышленной газете” (1899, 24 октября).

9 Морис Метерлинк (1862-1949) - бельгийский поэт и драматург, в начале нашего века был одним из наиболее чтимых авторов в кругу символистов. Небольшое эссе о нем Розанова можно найти в книге: Морис Метерлинк. Сочинения в трех томах Т.1, СПб.(б.г.<1909>).

10 Петр Петрович Перцов (1868-1947) - литературный критик, публицист, издатель книг Розанова: “Литературные очерки” (СПб., 1899), “Религия и культура” (СПб., 1899), “Сумерки просвещения” (СПб., 1899) “Приход Перцова, и вскоре предложение им издать сборники моих статей, - было собственно началом “выхода к свету”. У меня не было до этого самых знакомств, самого видения лица человека, -

который бы мне помог куда-нибудь вернуться.” (В. В. Розанов. “Литературные изгнанники”, с.386). Впоследствии Перцов печатал свои статьи в тех же изданиях, что и Розанов - в журн. “Новый путь”, в газ. “Новое время”.

11 Дмитрий Владимирович Философов (1872-1940) - литературный критик и публицист, близкий друг З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. С Философовым Розанов познакомился в 1898 г. в редакции журн. “Мир искусства”; после революции 1905 г. Философов - сотрудник многих либеральных периодических изданий, прежде всего - газ. “Речь”, со страниц которой вел полемику с Розановым. Для Розанова, как явствует из его заметок и писем, Философов оставался прежде всего “Димой” “Мира искусства”: “Дмитрий Владимирович Философов - “Дима” Мира искусства, неразлучный с Сержем (Дягилев)... В Мире искусства Мережковский был как барин; барин, несколько устраивающийся у своей челяди: и хлеб, и славишка. Потом отвлек Диму от Сержа, - какими “чарами” - не понятно. Роль Мережковского была сухая и утилитарная в Мире искусств. Собственно, Мир искусства был почти семейным органом Дягилевых-Философовых, и кажется Анна Павловна (мать Д. В. Философова) много прожила на этот ненавистный ей орган. Все это общество Мира иск. было прелестно, талантливо, аристократично по воспитанию, декадентно по вкусам, демократично по убеждениям. Не понятно, зачем оно распалось” (РО ГБЛ ф. 249, ед. хр. 3871, л. 17).

12 “Ты тронь кожу его” - обычный для Розанова перифраз, заменявший у него точное цитирование; в данном случае речь идет о второй главе библейской Книги Иова.

13 Александр Петрович Устьянский (1854-1922) - новгородский священник, протоиерей Дмитровской церкви, друг и многолетний корреспондент Розанова, неутомимо поддерживавший его религиозно-философские поиски на путях оправдания “святости семьи”. На обороте фотографии Устьянского сохранилась запись рукой Розанова: “Вот мой милый, вот мой дорогой священник - больше ничего не умею сказать. Люблю, чту, брат мой, наставник мой. Хочу, чтобы письма и портрет его - были изданы после моей “+”. Кто-нибудь любящий меня сделает. Он был весь - русский. Твердый. Ясный. Скромный... Ах: потом мы с ним вместе уродились в Костроме.” (РО ГБЛ, ф. 249, ед. хр. 4209).

14 Книга Розанова “Уединенное” вышла весной 1912 г. и была арестована цензурой по обвинению в порнографии. 19 июня 1913 года в газете “С.-Петербургские ведомости” появилось сообщение о результатах Судебного процесса над В. В. Розановым: “В СПб. судебной палате слушалось дело по обвинению В. В. Розанова в порнографии, по 1001 ст. улож. о нак., за его известную книгу “Уединенное”, конфискованную комитетом по делам печати. Окружной суд, как известно, признал Розанова виновным и приговорил его к десяти дням ареста, постановив книгу уничтожить. Палата от наказания автора “Уединенного” освободила по указу об амнистии и постановила освободить от конфискации книгу по изъятии из нее нескольких отдельных мест, в общем не превышающих десяти страниц”.

15 В Костроме Розанов жил с лета 1861 г. (год смерти отца - Василия Федоровича Розанова) по лето 1870 г. (год смерти матери - Надежды Ивановны Розановой, урожденной Шишкиной).

16 Сестра Верочка - Вера Васильевна Розанова (1848-1867), сестра В. В. Розанова, была вторым ребенком в семье В. Ф. Розанова.

17 И здесь, и во 2-м коробе “Опавших листьев”, где перепечатан этот же отрывок (с.182), пропущено слово “пар”, т. е. должно быть: 12 пар ребер.

18 Федор Васильевич Розанов (1850-?) - брат В. В. Розанова, третий ребенок в семье В. В. Розанова. Впоследствии стал “странником”.

19 Павел Александрович Флоренский (1882-1937?) - священник, религиозный философ, богослов, ученый. Розанов чрезвычайно высоко ценил О. П. Флоренского и выделял его из кружка “московских славянофилов”. (См.: В. Розанов. “Густая книга”. - “Новое время”, 1914, 12 и 22 февр.; “П. А. Флоренский об А. С. Хомякове”. - “Колокол”, 1916, 14 и 22 окт.; “Важные труды о Хомякове”. - “Новое время”, 1916, 12 окт.).

В одной из неопубликованных заметок 1914 г. Розанов так сформулировал свое отношение к Флоренскому: “Павел Флоренский - особенный человек, и м.б. это ему свойственно. Я его не совсем понимаю. Понимаю на 1/2; на 3/4, но на 1/4 во всяком случае не понимаю. Наиболее для меня привлекательное в нем: тонкое ощущение другого человека, великая снисходительность к людям, - и ко всему, к людям и вещам, великий вкус. По этому превосходству ума и художества всей природы он единственный. Потом привлекательно, что он постоянно болит о семье своей. Вообще - он не solo, не “я”, а “мы”. Это при уме и кажется отдаленных замыслах - превосходно, редко и для меня по крайней мере есть главный мотив связанности. Вообще мы связываемся не на “веселом”, а на “грустном”, и это - есть. Во многих отношениях мы противоположны с ним, но обширною натурой и умом он умеет и любит вникать и трудиться с “противоположным”. Недостатком его природы я нахожу чрезвычайную правильность. Он - правильный. Богатый и вместе правильный. В нем нет “воющих ветров”, шакал не поет в нем “заунывную песнь”. Но ведь по существу - то что в “ветре”, что в “шакале”. - “Ах, искушали меня эти шакалы”. В нем есть кавказская твердость, - от тамошних гор, и нет этой прекрасной, но и лукавой “землицы” русских, в которой “все возможно” и “все невозможно”. Господь да благословит его в путях его.” (ЦГАЛИ, ф. 419, ед. хр. 225 л. 231).

Высоко ценил талант Розанова и Флоренский; их многолетняя переписка неизвестна современным исследователям: после смерти Розанова Флоренский, с согласия родственников писателя, взял свои письма назад. Идеиные и литературные взаимоотношения Розанова и Флоренского нуждаются в обстоятельном анализе (первые подступы к теме см.: Юрий Иваск. “Розанов и о. Павел Флоренский”. - “Вестник РСХД” (Париж), 1956, No 42, с. 22-26; П. Палиевский. Розанов и Флоренский. - “Литературная учеба”, 1989, No 1, с. 111-115).

20 Сергей Алексеевич Цветков (1888-1964) - историк литературы, редактор “Русских ночей” В. Ф. Одоевского (М., 1913), друг и почитатель таланта Розанова. В послереволюционные годы собиратель библиографических материалов о Розанове.

21 Брат Коля - Николай Васильевич Розанов (1847-1894) - старший брат В. В. Розанова, после смерти матери взявший на содержание и воспитание двух своих братьев (Василия и Сергея). С 1870 г. был преподавателем в Симбирске, с 1872 г. - в Нижнем Новгороде; с 1879 г. - инспектор, а затем и директор гимназии в Белом и Вязьме. Н. В. Розанов был идейным поборником классического образования и принципов воспитательного образования; в общественно-культурном плане - оставался консерватором славянофильской ориентации.

Многие педагогические и культурно-политические установки старшего брата отстаивались впоследствии и В. В. Розановым.

22 Этот же рассказ перепечатан Розановым во 2-м коробе “Опавших листьев” и сопровождается гимназическими письмами Кости Кудрявцева 1874-1877 годов.

23 Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910) - один из основателей и лидеров конституционно-демократической партии, в 1884 году был лишен кафедры Московского университета за “политическую неблагонадежность”. В 1906 году - председатель 1-й Государственной Думы и совещания ее членов в Выборге после роспуска Думы.

24 mot (франц.) - словцо, остроумное выражение, находчивая реплика.

25 Речь идет о двух из четырех наклонений в греческом глаголе: сослагательном или конъюнктиве (modus conjunctivus) и желательном или оптативе (modus optativus); для этих двух наклонений в русском языке нет соответствующих форм.

26 Александр Петрович Заболотский преподавал греческий язык в нижегородской гимназии, где Розанов учился с 1872 по 1878 гг.

27 Тихон - Тихон Дмитриевич Руднев, брат Варвары Дмитриевны.

28 Афонька и Тертый - Афанасий Васильевич Васильев (1851-?), славянофил, непосредственный начальник Розанова по Государственному контролю, где в департаменте по железнодорожной отчетности Розанов прослужил с 1893 по 1899 год.

Тертый Иванович Филиппов (1825-1899) - государственный контролер; славянофил, писатель по церковным вопросам; друг и покровитель К. Н. Леонтьева.

Розановская статья “Эстетическое понимание истории” послужила началом переписки Филиппова с Розановым, завершившейся предложением учителю гимназии переехать в Петербург для работы в Контроле. Последующие взаимоотношения Розанова с сановником-славянофилом оставались крайне напряженными. “Служу я, - писал Розанов А. П. Устынскому в 1898 г. - чиновником особых поручений при Государственном Контролере, откомандированным в Департамент железнодорожной отчетности, где состою исполняющим обязанности младшего ревизора и получаю 150 р. В силу не расположения ко мне Государственного Контролера, Филиппова (по видимому, он желал и надеялся, что я стану поддерживать его церковные тенденции и вообще разные литературные махинации) - положение мое в Контроле весьма шатко и неудобно. Ум у Филиппова светлый, но это - темный человек, и у него нет шага без расчета, как и нет слова - от сердца.” (РО ГБЛ, ф. 249, ед. хр. 4229, л. 7; ср.: В. Розанов. “Литературные изгнанники”, с. 383-385).

29 Петр Бернгардович Струве (1870-1944) - экономист, общественный деятель и публицист, редактор журнала “Русская мысль” (1907-1918), на страницах которого напечатал статью: “В. В. Розанов - большой писатель с органическим пороком” (1910, ноябрь), вызвавшую ответные выступления Розанова (“Литературные и политические афоризмы”. - “Новое время”, 1910, 25 и 28 ноября, 9 декабря) и бурную реакцию почти всей русскоязычной прессы того времени. Многие современники восприняли статью Струве как начало систематической травли Розанова со стороны либеральных кругов.

30 Наиболее ярко тезис о “демонизме Розанова” был сформулирован литературным критиком “православной ориентации” А. С. Глинкой (Волжским) (1878-1940) в его статье “Мистический пантеизм В. В. Розанова”, первоначально напечатанной в журналах “Новый путь” (1904, декабрь) и “Вопросы жизни” (1905, январь-март): “На пути розановского устремления, в его попытках теитизировать пол, в ужасе разверзаются зияющие своей беспросветной темной глубиной бездны, раскрываются страшные, бездонные пропасти, из которых несетя страшно-щекочущий сатанинский хохот, бегут странно дрожащие черные тени, загораются зловещие, дразнящие красные огни демонизма. В глубине глубин пантеистической мистики Розанова страшно темная точка ее, черное жерло жизни, в ее провалах и углублениях к потусветному, ноуменальному, вдруг загорается огненно-красным дьявольским светом”. (Волжский. Из мира литературных исканий. Сборник статей. СПб., 1906, с. 351).

31 Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866-1941) - поэт, писатель, литературный критик, проповедник “нового религиозного сознания”. В конце 90-х - начале 900-х годов был близок с Розановым, называл его “русским Ницше” и сочувственно относился к его религиозно-философской интерпретации проблем пола. Сближение Мережковского с социалистами-революционерами в середине 900-х годов привело, в конце концов, к общественному и личному противостоянию двух писателей. В 1914 г. Мережковский был инициатором исключения Розанова из Религиозно-философского общества.

32 Александр Карлович Закржевский (1886-1916) - киевский литератор и критик, с 1909 г. - корреспондент Розанова, автор книг “Карамазовщина. Психологические параллели” Киев, 1912; “Религия. Психологические параллели” Киев, 1913, в которых есть главы, посвященные творчеству Розанова. В книге “Карамазовщина” читаем о Розанове: “Вот философ, который весь вышел из Карамазовщины, из адского кипения жизни, из неотравленного колодца таких глубин, о которых нам, современникам, может быть, и не снилось еще!... Несомненно, он от Федора Павловича, плоть от плоти, кость от костей его, это может быть возмужавший и созревший монашек Алеша, может быть перешедший границу тридцатилетнего возраста Иван, может быть углубившийся и побывавший около очагов культуры — Дмитрий. ... Творчество Розанова, его душа до того усложнены, до того уклончивы и многообразны, что в одной статье невозможно дать определенной характеристики, нельзя охватить всего Розанова. Много у него различных ликов, и маски его бесчисленны. До сущности же докопаться трудно, а если и постигнешь ее, - то она сейчас же станет новой маской, и снова таинственно засмеется и снова исчезнет во тьме. И вот это-то и есть то, что я особенно ценю в этом художнике.”

33 Федор Федорович Куклярский - философ, автор книг, в которых анализируется также проблематика и творчество Розанова: “Философия индивидуализма” (СПб., 1910); “Осужденный мир. Философия человекоборческой природы” (СПб., 1912). В последней он пишет: “Розанов - типичный аналитик христианства, при чем анализ его с годами все более углубляется, принимает все более и более интимный характер и, вместе с тем, все более сосредотачивается на ненормальных и темных чертах христианского откровения. В этом последнем отношении Розанов является прямым продолжателем Константина Леонтьева, с той, однако, разницей, что Леонтьев сатанизировал христианство во имя отрицания человека, тогда как Розанов сатанизирует его путем апелляции к натуральным родовым

человека” (с. 207). В одном из писем Куклярский писал Розанову: “Могу без обиняков сказать, что я - ярый противник христианства и, пожалуй, Христа, но не знаю, насколько моя платформа близка к Вашей. Кроме Л. Шестова и Вас я не вижу вокруг себя никого, кто мог бы сказать мне несколько утешительных слов” (РО ГБЛ ф. 249, ед. хр. 3876, л. 37). Письма предваряет розановская характеристика: “Куклярский Фед. Фед. (совершенно - оказалось - невозможный господин) лет 26-28-24? Очень красив, изящен: но “Дай денег”. (Там же, л.34).

34 Корней Иванович Чуковский (псевдоним Корнейчука Николая Васильевича; 1882-1969) - литературный критик, литературовед, переводчик, детский писатель. О Розанове Чуковский писал неоднократно: см., например, “Прохожий и революция” (газ. “Свобода и жизнь”, 1906, 16 (29) октября); “Открытое письмо В. В. Розанову” (газ. “Речь”, 1910, 24 окт. (6 ноября)); “Андреев в русской критике по статье Розанова” в его кн.: “Леонид Андреев большой и маленький”. СПб., 1908. Полемически заостренную характеристику Чуковского-литературного критика Розанов дал в статье “Богатый и убогий” (газ. “Новое время”, 1911,22 марта): “Странно. Пишет превосходно, а впечатлений нет. Уж много лет пишет, а никак не скажешь: “вот какую мысль проводит этот писатель”. Очень странно для писателя: не проводит никакой мысли. Что же он пишет? - “А так, пишет. И превосходно пишет”. В каком роде? для чего? - “Он, собственно, клюется. Клюнул одного. Клюнул другого”. - “Да для чего?!” - “А так, чтобы вышло осязательное впечатление. Больше ни для чего”... Странно... Не столько писатель, сколько воробей: потому что, если Чуковского самого спросить, на кого он походит, на орла или воробья, то он, залившись краской стыда, смущенно и невнятно пробормочет: “Конечно, на воробья, орлиного во мне ничего нет. И я клюю все маленькое, маленьким клювом и маленькие зернышки”. В самом деле, страсть его разбирать все мелочи, писать о мелочах в писателе, и, по возможности, о мелочах в самом мелком писателе, которого и не читает никто, которого даже почти никто и не знает, - изумительна! Поистине, это критик о Вербицкой. Послушайте: он ни за что в свете и никогда не напишет статьи о Толстом и Достоевском. Самая талантливая его статья-лекция была... о Нате Пинкертоне в русской литературе и о кинематографе как отделе литературы!”.

35 *parvus* (лат.) - мальчик, ребенок; маленький, слабый, смиренный.

36 У гроба третьего - т. е. у гроба учителя И. Ф. Петропавловского, упомянутого в начале “Смертного”.

37 Сергей Александрович Рачинский (1833-1902) - профессор Московского университета, затем - создатель церковно-приходских школ в своем имении Татево. Знакомство Розанова с Рачинским произошло в 1891 году. Розанов с большим интересом относился к педагогическим идеям Рачинского (см. напр., “С. А. Рачинский о средней школе”. - “Новое время”, 1902, 22 января; “С. А. Рачинский и его Татево”. - Там же, 22 мая), однако резко разошелся с ним в вопросах семьи и брака. Позже Розанов писал: “Между теми, кто знал меня, да и из незнавших — многие, отнеслись - “отвергая мои идеи”, враждую с ними в печати и устно - не только добро ко мне, но и любяще... Исключением был только С. А. Рачинский, один, который “Возненавидел брата своего” (после статей о браке в “Русском труде” и в “С.-Петербургских ведомостях”) (В. Розанов. “Уединенное”. Пг., 1916, 2 изд. с. 138-139). Письма Рачинского к Розанову (с купюрами) были напечатаны в журнале “Русский вестник” (1902, No 10-11, 1903, No 1).

38 Татьяна Васильевна Розанова (1895-1975) - вторая дочь Розанова; была крещена в С.-Петербургской Введенской (что на Петербургской стороне) церкви при восприемниках Николае Николаевиче Страхове и Ольге Ивановне Романовой. После крещения дочь Розанова была официально записана как Татьяна Николаевна Николаева, - так, по имени крестного отца, обычно регистрировались все “незаконнорожденные”.

39 Первый ребенок - дочь Надя (6 ноября 1892 - 25 сентября 1893).

40 Иван Павлович Мержеевский (1838-1908) - психиатр, профессор Военно-медицинской академии, знакомый Розанова, лечивший Варвару Дмитриевну. См. о нем: В. Розанов. “Памяти И. П. Мержеевского”. - “Новое время”, 1908, 8 марта.

41 Яков Афанасьевич Анфимов (1852- ?) - невропатолог, летом 1898 года (а не 1897, как ошибочно указывает Розанов) он первый сообщил о разрушительной болезни, угрожавшей Варваре Дмитриевне. В одном из писем П. П. Перцову Розанов писал: “Узнав в Пятигорске о неисцелимой болезни Вари - я был сломан, костей не осталось (совершенно не предвиденное открытие, мы поехали - веселиться). Тут я пережил минуту Иова...” Ошибка авторитетного Бехтерева, отменившего диагноз Анфимова в том же году, привела к прогрессированию болезни у Варвары Дмитриевны. Подробно об этом Розанов пишет в “Опавших листьях” (СПб., 1913, с.383-388).

42 *comme il faut* (франц.) - приличный, порядочный.

43 Николай Константинович Михайловский (1842-1904) - теоретик народничества, литературный критик, публицист. Розанов, как и Ипполит Андреевич Гофштеттер (1860-1951) - журналист газеты “Новое время”, которого Розанов иронически именовал Добчинским, - также полемизировал с Михайловским, правда, с позиций славянофильских и религиозно-философских (см. например, его статьи: “Может ли быть мозаична историческая культура?” - “Московские ведомости”, 1892, 20 июля; “Еще о мозаичности и эклектизме в истории”. - Там же, 17 октября; “Писатель семидесятых годов. Н. К. Михайловский”. - “Новое время”, 1900, 16 июня; “Счастливый обладатель своих способностей”. - “Мир искусства”, 1902, No 9-10; “Критика г. Михайловского”. - “Новое время”, 1902, 1 сентября; ср.: “Февральские потери” <О смерти Н. К. Михайловского>. - “Новое время”, 1904, 3 марта).

44 Александр Аркадьевич Столыпин (1863-?) - публицист, сотрудник газеты “Новое время”, брат председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911).

45 Иван Павлович Бутягин - священник, тайно обвенчавший Розанова с Варварой Дмитриевной 5 июня 1891 года в домовая церкви Колабанского детского приюта в г. Ельце; брат первого мужа Варвары Дмитриевны. Как явствует из письма Розанова митрополиту Антонию, именно этот “молодой, резкий, грубоватый священник” и был инициатором венчания: “в присутствии нынешней моей жены он завел со старым протоиереем следующий разговор: “я могу В. Д. повенчать с В. В. (со мной)”. - “Что ты, с ума сошел - с женатым человеком”. - “Нет, отец протоиерей: скажите мне, что требуется венчающему священнику?” Тот исчисляет. - “Нет, я вас спрашиваю о канонах, а не правилах: ничего я не должен знать, кроме согласия жениха и невесты”. “По канонам - конечно, но...” Но тот ему закрыл речь: “Я так же каноны хорошо знаю, как вы, и вы меня не оспорите, что как иерей - я решительно ничего не должен знать, кроме сводного согласия венчающихся”. - “Конечно”. Как старик сказал “конечно” (а он был чрезвычайно уважаемый, глубоко осторожный

священник, до известной степени глубокий политик), - невеста моя возлюбленная выбежала, прибежала ко мне и рассказала как бы о пожаре Москвы. До того это и мне и ей было удивительно. Теперь я знаю по каноническому праву, что - так (одно согласие нужно), но тогда понятия не имел.

А священник этот, решительный и смелый, пришел ко мне и сказал тоже, конечно - венчание без записей, без свидетелей, чисто тайное и только для совести, в приютской церкви (где он священствовал). Старушка моя (мать невесты) плакала две недели, колеблясь, исповедалась (духовный отец - священник у Введения) и по духу отец духовный ей сказал (он меня слегка знал, их же всех - от роду знал): "Ну, что же делать, хуже - будут так после твоей смерти жить" (что и верно случилось бы). Так все и произошло. Мы вошли в церковь, в воскресенье в час дня, под предлогом осмотреть ее - он запер ее на ключ, - и без всякой робости, с венцами (потом пожертвовал в другую церковь), истово - нас повенчал, и повенчав сказал мне трогательное слово, что я должен жену мою (2-ую) усиленно беречь, п. ч. она только отдается в мою совесть и нет у нее другого обеспечения... И вышли мы. Как нас старушка встретила! (еще как она молилась, нас отправляя в церковь): никогда такой горячей, порывистой, минутной молитвы не видал. И во истину, все слава Богу. Вся их семья, весь их большой род замер в страхе; теперь уже нас принимают, но старик священник (политик) затворился, и все заперлись - в неведении. Только неразлучно с нами была старушка мать, ответом, фактом, делом, безграничной к нам обоим любовью. По условию с венчавшим священником, мы должны были (для предупреждения пересудов) немедленно выехать из Ельца. Так и сделали: я выпросил себе перевод в Белый (Смоленской губернии)..." (ЦГАЛИ, ф. 419 оп. 1 ед. хр. 256 л. 4-5).

46 Silentium (лат.) - молчание.

47 Дядя - Дмитрий Андрианович Жданов, священник, брат Александры Андриановны Рудневой ("бабушки"), крестный Варвары Дмитриевны.

48 "В мире неясного и нерешенного" - сборник статей В. В. Розанова (СПб., 1901).

49 Дмитрий Наумович Руднев - священник, муж Александры Андриановны Рудневой, отец Варвары Дмитриевны.

50 В Киеве Розанов был в качестве корреспондента газеты "Новое время" в сентябре 1911 года на похоронах П. А. Столыпина.

51 Первый раз Шура ушла из дома на квартиру в 1907 г. по религиозным причинам - под влиянием свящ Сильвестра Медведева, находившегося в дружбе с Григорием Распутиным. Подробный рассказ Розанова об этом см. в его книге "Апокалипсическая секта" (СПб., 1914). Второй уход из дома был обусловлен дружбой Шуры с курсисткой Натальей Аркадьевной Вальман, которую Розанов и Варвара Дмитриевна не любили.